

Волфганг Казак

Поет переводчик
Константин Богатирев

Verlag Otto Sagner München · Berlin · Washington D.C.

Digitalisiert im Rahmen der Kooperation mit dem DFG-Projekt „Digi20“ der Bayerischen Staatsbibliothek, München. OCR-Bearbeitung und Erstellung des eBooks durch den Verlag Otto Sagner:

<http://verlag.kubon-sagner.de>

© bei Verlag Otto Sagner. Eine Verwertung oder Weitergabe der Texte und Abbildungen, insbesondere durch Vervielfältigung, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages unzulässig.

«Verlag Otto Sagner» ist ein Imprint der Kubon & Sagner GmbH

ARBEITEN UND TEXTE ZUR SLAVISTIK · 25
HERAUSGEGEBEN VON WOLFGANG KASACK

ПОЭТ-ПЕРЕВОДЧИК КОНСТАНТИН БОГАТЫРЕВ

Друг немецкой литературы

Редактор-составитель Вольфганг Казак
с участием Льва Копелева и Ефима Эткинда

1 9 8 2

München · Verlag Otto Sagner in Kommission

0047002
Z 76. 1431-25

Konstantin Bogatyryow (1925-1976) war einer der bedeutendsten russischen Nachdichter deutscher Lyrik. Der Schwerpunkt seines Schaffens lag bei Rilke und Kästner. Sein gewaltsamer Tod löste weltweite Bestürzung aus. In diesem Gedenkband sind über 100 Seiten Beispiele seines Schaffens mit den deutschen Originalen aufgenommen, ferner 37 Essays, Gedichte und Nekrologe seiner Freunde, unter ihnen Gennadi Aigi, Heinrich Böll, Roman Jakobson, Wladimir Woinowitsch. Sie greifen über das persönliche Schicksal hinaus in grundsätzliche Fragen des Todes, des Übersetzens, der sowjetischen Kulturpolitik, der Literatur.

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Poët-perevodčik Konstantin Bogatyrev: drug nemeckoj literatury / red.-sost. Vol'fgang Kazak s učastiem L'va Kopeleva i Efima Êtkinda. - München: Sagner, 1982.

(Arbeiten und Texte zur Slavistik 25)

ISBN 3-87690-156-1

NE: Kasack, Wolfgang [Hrsg.] ; GT

**Bayerische
Staatsbibliothek
München**

© der Texte bei den angegebenen
Autoren und Verlagen

Alle Rechte vorbehalten

ISBN 3 87690 156 1

ISSN 0173-2307

Gesamtherstellung Walter Kleikamp · Köln

ПО ПОВОДУ ЭТОГО ИЗДАНИЯ

В этой книге представлены работы поэта-переводчика Константина Богатырева, а также статьи и стихотворения, посвященные его памяти. Сборник выходит в двух параллельных изданиях - русском и немецком. Только в русском издании публикуются переводы Константина Богатырева (большей частью по рукописным копиям), рядом приведены немецкие оригиналы. Выдержки "Из переписки" Богатырева включены только в немецкое издание. Все остальные материалы печатаются в зависимости от основного языка издания в оригинале или в переводе. В связи с некоторой сложностью переводов русское и немецкое издания несколько отличаются друг от друга. Однако оба издания ставят себе целью создать из многих мозаичных камешков образ русского поэта-переводчика Константина Богатырева.

Часть текстов, написанных между 1976 и 1981 годами, публикуются впервые, некоторые были уже напечатаны раньше (см. примечания). В начале раздела переводов Константина Богатырева приведены произведения Кестнера и Рильке, которых он больше всего переводил. Затем - также в хронологическом порядке (по времени публикации) - избранные переводы других авторов. Статьи и стихотворения друзей Богатырева разделены на отделы "Из России" и "Из заграницы", хотя некоторые авторы, представленные в разделе "Из России", с тех пор должны были покинуть родину. Все "Некрологи" написаны сразу после убийства Богатырева. Библиография составлена по возможности полно; однако, вероятно, еще немало других стихотворений, переведенных Богатыревым, разбросано по разным публикациям. Примечания, как правило, написаны издателями и переводчиками; авторские примечания особо отмечены. Краткая информация обо всех авторах в конце сборника.

От имени соиздателей и редакторов я благодарю всех авторов, которые сотрудничали в этой книге. Не все, из того, что печатается в разделе "Из России", было предусмотрено для публикации в этом сборнике; но мы надеемся, что авторы все же не будут возражать.

Некоторые тексты пришлось сократить, чтобы не повторять одну и ту же информацию. Подробные справки даны в примечаниях. Мы выражаем благодарность всем авторам и издательствам, которые предоставили право печатания. Издатели очень благодарны всем переводчикам, которые в память Константина Богатырева работали бесплатно. Благодарю своих сотрудников, прежде всего Фрау д-р Ирма-гард Лоренц за содействие при редакционной работе. Все участники этого сборника признательны Обществу друзей Кёльнского университета за финансовую поддержку русского издания.

Кёльн, февраль 1982 года

Вольфганг Казак

СОДЕРЖАНИЕ

По поводу этого издания	5
Вольфганг К а з а к, Константин Богатырев и его друзья	11
ИЗБРАННОЕ	
(Стихотворения на русском и на немецком языках)	
Об Эрихе Кестнере	23
Э р и х К е с т н е р	
Другая возможность	32
Последний сон Дон-Жуана	36
Р а й н е р М а р и я Р и л ь к е	
О фонтанах	40
Ранний Аполлон	44
Жалоба девушки	46
Песнь любви	48
Эранна - Сафо	50
Сафо - Эранне	52
Сафо - Алкею	54
Жертва	56
Восточная дневная песнь	58
Гробница девушки	60
Ависага I-II	62
Давид поет Саулу I-III	66
Собор Иисуса Навина	72
Уход блудного сына	76
Гефсиманский сад	78
Пиета	82
Пение женщин, обращенное к поэту	84
Смерть поэта	86
Будда	88
Бог в Средние века	90
Узник I-II	92
Пантера	96
Святой Себастьян	98
Ангел	100

Слепну́щая	102
В чужом парке	104
Римские фонтаны	106
Карусель	108
Испанская танцовщица	110
Площадь	112
Quai du Rosaire	114
Архаический торс Аполлона	116
Критская Артемида	118
Из жития святого	120
Обмывание трупа	122
Э р в и н Ш т р и т т м а т т е р	
Ты спросил меня, когда цветет черника	124
Б е р т о л ь т Б р е х т	
Теперь она гримируется	126
Тополь на Карлсплац	128
А д е л ь б е р т ф о н Ш а м и с с о	
Memento	130
И о г а н н В о л ь ф г а н г ф о н Г ё т е	
Песнь о Нибелунгах	132
И н г е б о р г Б а х м а н	
Отсроченное время	136
Изо дня в день	138
П а у л ь Ц е л а н	
Откос	140
Набросок ландшафта	142
Ты вытравил	144
Порт	146
Ф р и д р и х Г е б б е л ь	
Ирод и Мариамна (выдержка из III,3)	152
Г е о р г Т р а к л ь	
Распад	156
Памяти Пастернака	158

СТАТЬИ И СТИХИ ДРУЗЕЙ И ПОЧИТАТЕЛЕЙ

И з Р о с с и и

Геннадий А й г и, Выдержки из писем от 13-го апреля 1977 и 15-го апреля 1981	161
Поэту róзы поэта. Десять стихотворений	162
Вячеслав И в а н о в, Вихрь	180
Борис П а с т е р н а к, Письма от 27-го января 1954 и 2-го января 1958	188
Вадим К о з о в о й, Еще одна вариация (выдержки)	189
Владимир Т о п о р о в, Верность духовному идеалу	190
Ян С а т у н о в с к и й, Реквием (выдержки)	192
Василий А к с е н о в, Университетский человек	193
Иван Р о ж а н с к и й, На службе русской культуры	195
Всеволод Н е к р а с о в, Как это бывает	205
Владимир В о й н о в и ч, Штрихи к портрету	206
Александр Д в о р я д к и н, Баллада о художнике	211
Осип Ч е р н ы й, Поверх проложенных трасс	214
Д. В а р д а ш, О таинство последнее творца	223
В. К о н ч е е в (Геннадий Б а р а б т а р л о), Константинополь	224
Лев К о п е л е в, Словопоклонник	232

И з з а г р а н и ц ы

Ганс-Вернер Р и х т е р, Запоздалое письмо к другу (выдержки) (С немецкого перевела Галина Беркенкопф)	237
Роман Я к о б с о н, С первых до последних дней	239
Фридерике К а з а к, Узнав почему (С немецкого перевели Раиса Орлова и Лев Копелев)	241
Феликс Филипп И н г о л ь д, Секундная вспышка (С немецкого перевела Елизавета Мнацаканова)	244
Генри Г л е й д, Верность Слову и Истине (С немецкого перевел Евгений Терновский)	245

Анджела Л и в и н г с т о н, Переводчик поэзии Рильке	248
(С английского перевела Александра Вейсванге)	
Пауль В э д, Поэт и комик	254
(С датского перевел Рольф-Дитрих Кайль)	
Джеффри А. Х о с к и н г, Человек для других	259
Сара К и р ш, Московское утро	262
(С немецкого перевел Лев Копелев)	
НЕКРОЛОГИ	
Генрих Б ё л л ь, Некролог незначительному человеку	265
(С немецкого перевел Евгений Терновский)	
Лидия Ч у к о в с к а я, Кто убил Богатырева?	268
Томас В е н ц л о в а, Nel mezzo del cammin di nostra vita	277
Глеб С т р у в е, Да будет ему легка земля	278
ИЛЛЮСТРАЦИИ	281
УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ К. БОГАТЫРЕВА	299
ПРИМЕЧАНИЯ	304
ОБ АВТОРАХ ЭТОГО СБОРНИКА	312

Вольфганг Казак, Кёльн

КОНСТАНТИН БОГАТЫРЕВ И ЕГО ДРУЗЬЯ

У него было много друзей. Многих он привлек своей любовью к немецкой литературе - это были немецкие писатели, русские германисты, русские писатели, немецкие переводчики, друзья Рильке и Кестнера во всем мире. Его гибель в 1976 году горестно потрясла многих людей, не только его родных и ближайших друзей, но и тех, кто знал его, кто так же как он бесстрашно жил, сознавая необходимость свободы духа с тем же внутренним убеждением, что всякая духовная деятельность подвластна лишь нравственным нормам, лишь велениям Бога. Он не был широко прославлен как переводчик, не был известен как диссидент. Внимание мировой печати к нему привлекло лишь то, что его убили. Но у него было множество друзей в разных странах, которые его очень высоко ценили. Некоторые из них представлены в этом сборнике: люди из Советского Союза, из Федеративной Республики Германии, из Великобритании, Франции, США, Швейцарии и Дании. Одни пишут о боли, вызванной сообщением о его неожиданной смерти, другие запечатлели конкретные воспоминания, третьи высказывают более общие мысли, вызванные его судьбой, поэты почтили его память в стихах. Их всех объединяет уважение к судьбе Константина Богатырева и преклонение перед жизненным подвигом этого переводчика немецкой поэзии, строителя мостов между народами и между их литературами.

В этом же сборнике выступают, хотя и не как соавторы, его литературные друзья-наставники три поэта: Борис Пастернак, Райнер Мария Рильке и Эрих Кестнер.

С Кестнера, которого Богатырев впервые читал десятилетним мальчиком в Москве по-немецки, началась его любовь к немецкой литературе; Рильке, которого он больше всего переводил - и как многие русские друзья говорят, лучше чем кто-либо другой - завершает его жизненный подвиг; а в Пастернаке он нашел и друга, исполнен-

ного отеческой любви, и литературный идеал. Пастернак называл Рильке своим литературным учителем и сам создал несколько переводов его стихов. В подобной форме для Богатырева образцом и учителем был Пастернак. Пастернак стал для него и своеобразным связующим звеном между Рильке и Кестнером: ведь неслучайно в переводах стихов Кестнера, которые сделал Богатырев, русские ощущают Пастернаковскую интонацию.

Друзьями Богатырева были и его книги, у него была большая библиотека, и он хранил ее необычайно тщательно, почти педантично. (Некоторым русским людям это казалось немецкой аккуратностью.) Книга для него была не просто предметом потребления, не такой собственностью, которую можно разделить с другими, книга была святыней. Это отношение менее всего зависело от того, что в Советском Союзе невозможно приобрести немецкие книги, и чрезвычайно трудно доставать лучшие русские книги (Константину даже трудно было раздобыть собственные переводы.) Нет, его отношение к книге было сложнее, было необычайно своеобразным, в нем словно были нераздельны форма и духовное содержание, тождественны внешнее и внутреннее владение. И этих друзей он не хотел терять. Когда он однажды потерял важную для него книгу - кажется это было во время переезда с одной квартиры на другую - он утешал себя так: "Единственное утешение это слова Пастернака, что и потери бывают необходимыми и иногда для человека имеют даже положительное значение (его постоянная идея с вариациями)".¹ Творчество Пастернака стало связующей силой для многих людей его поколения, как это показывает Вячеслав Иванов в публикуемой ниже статье. Для Богатырева Пастернак был не только учителем поэтического перевода, но повлиял даже на его своеобразное отношение к его книгам-друзьям.

Константин Богатырев был сыном знаменитого отца, русского фольклориста Петра Григорьевича Богатырева (1893-1971).² Петр Григорьевич был одним из основателей Московского Лингвистического Кружка (1915). Виктор Шкловский написал в 1923 году в книге "Зоо или письма не о любви": "Ты знаешь белокурого Петра Богатырева. Глаза у него голубые, рост маленький, брюки короткие; брюки бывают особенно коротки у коротконогих... он не говорит, а галдит. Этот эксцентрик родился в семье цехового, в селе Покровском, на Волге. За умение хорошо декламировать попал в гимназию. Кончил. Пошел в

университет филологом и здесь занялся теорией анекдотов. Пишет Богатырев много и потом теряет рукописи. В голодной Москве Богатырев не знал, что он живет плохо..."³ Возникшая тогда дружба с Романом Якобсоном продолжалась несмотря на долгие разлуки до конца его жизни. (Петр Богатырев жил в Праге с 1921 по 1940 г. и там же 12-го марта 1925 года родился Константин.) Эта дружба была передана и сыну. Якобсон был крестным отцом Кости. В первые годы после Сталинской эпохи Роман Якобсон посещал и отца и сына в Москве (в 1956, 1958, 1966 гг.) Лингвистические исследования и работы в области антропологии культуры принесли славу Богатыреву-отцу. В университетских кругах Тарту он пользуется особым уважением. Ю. Лотман назвал его "одним из пионеров отечественных и мировых семиотических исследований". Ему посвящен седьмой том "Трудов по знаковым системам" (1975). (Константин страдал из-за того, что тираж был снижен, объем сокращен, что не был напечатан снимок отца). Он дружил с отцом с начала своей сознательной жизни, сохранил эту дружескую связь и после смерти отца, когда переселился в его квартиру. Отец был и первым, который познакомил его с творчеством Кестнера. Константин приехал в Москву в 1928 году на руках у матери, отец, оставшийся в Праге, посылал ему немецкие книги.

Новая встреча с Кестнером произошла по его собственным словам в лагере в Воркуте в 1952 году. Константин Богатырев был призван в 1941 году, но из-за слабого здоровья не был на передовой. Он был в числе немногих из своего поколения, оставшихся в живых.

В 1945 году он служил адъютантом полковника Тюльпанова в Советской Зоне Оккупации Германии и познакомился с Германией разрушенной, но жаждущей культурной жизни. После демобилизации он стал изучать германистику в Москве. Завистливый негодяй донес на него, что якобы он провозгласил тост за Россию без Сталина. Осудили его по нелепому обвинению, будто он хотел взорвать Кремль, осудили как потенциального террориста. Но он остался в живых, несмотря на то, что попал в одну из самых чудовищных пыточных тюрем Советского Союза - Сухановку, несмотря на то, что его приговорили к смертной казни, замененной в 1951 году 25-летним сроком. Пытки, смертный приговор (шесть недель в камере смертников), каторжный лагерь, все это оставляет на человеке тяжелые следы.

Дрожащие руки Богатырева, подергивание его лица, его бесстрашие и религиозное мировосприятие многим, кто встречался с ним, напоминали о тех временах. После смерти Сталина и Хрущевской кампании реабилитации он был освобожден в 1956 году, мог приехать в Москву, продолжать занятия и в 1959 году защитил диплом о "Лотте в Веймаре" Томаса Манна.

Из лагеря он привез заученные наизусть переводы из Кестнера и Рильке. Некоторые из стихов он там переводил по памяти, а другие ему продиктовали немецкие товарищи по заключению. Так, постепенно эти два поэта заняли главные места в его занятиях немецкой литературой и творчестве переводчика. В годы лагеря он изведal величайшее подтверждение дружбы Пастернака, именно дружбы, хотя тот был на тридцать пять лет старше его. Борис Пастернак писал ему письма в лагерь и посылал посылки. Трижды он спасал Костю жизнь: оказывая ему практическую помощь - посылками, которые позволили физически выжить; человеческую помощь - многократно подтвержденной дружбой, и духовную помощь - своими стихами, которые Богатырев помнил наизусть и снова и снова повторял в лагере. Не знаю, необходимо ли побывать в тюрьме, в лагере, чтобы понять, какие силы придает в таких предельных состояниях именно поэзия (меня в Волжском лагере военнопленных душевно укрепляли стихи моего отца Германа Казака, стихи его друга Оскара Лёрке, и томик - "Фауст" Гёте.) Сила, которую Костя в беде черпал из поэзии, стала главным впечатлением Петра Григорьевича, когда он однажды получил разрешение навестить сына в лагере на далеком Севере. Вернувшись, он рассказал Пастернаку, что именно его стихи помогают сыну выжить.

В первой публикации Константину помог отец. В 1959 году П.Г. Богатырев издал сборник "Эпос славянских народов", в котором четыре лужицких народных песни были переведены Константином.⁴

После этого он опубликовал переводы, сотрудничая с двумя соиздателями этого сборника. Лев Копелев издал в 1960 году перевод романа Эрвина Штриттматтера "Чудодей". Стихи в этом романе были переведены Константином Богатыревым.⁵ В 1962 году Копелев опубликовал в журнале "Театр" перевод пьесы Штриттматтера "Невеста голландца", тексты песен были переведены Богатыревым.⁶ Им же четыре года спустя (1966) были переведены многие стихи в книге Копелева о Брехте.⁷ Ефим Эткинд подготовил вместе с К. Богатыревым

издание сборника стихов Эриха Кестнера написанных в 1928-1952 гг. Сборник, который содержит переводы как Эткинда, так и Богатырева, вышел в 1962 году под заглавием "Маленькая свобода" (название немецкого сборника Кестнера 1952 года).⁸ В том же 1962 году Богатырев опубликовал в журнале "Подъем" пять стихотворений Кестнера.⁹

Константин Богатырев с самого начала своей творческой деятельности считал себя прежде всего поэтом-переводчиком. В этом заключалась его сила, в этом был и смысл его жизни. Сосредоточенность его на проблемах перевода заходила так далеко, что любые стихи он воспринимал с точки зрения их переводимости. В 1964 году он даже написал, что почти не знает никаких иных стихов Рильке кроме тех, которые перевел сам.¹⁰ В Советском Союзе переводы стихов могут быть и средством для существования. Примеры тому Семен Липкин и Арсений Тарковский - поэты, которые в течение многих десятилетий не публиковали собственных стихотворений, а жили тем, что переводили стихи и многострофичные восточные эпические поэмы. Да и для Бориса Пастернака и для Анны Ахматовой поэтические переводы годами создавали основу материального существования, когда их собственное творчество подавлялось. Константин Богатырев избрал иной путь: перевод прозы. Он перевел три романа: "Вступление в будни" (1964)¹¹ Бригитты Рейман, "Барвинок" (1965)¹² Виланда Герцфельде и "Мефистофель", роман о Грюндгенсе (1970)¹³ Клауса Манна. Кроме того он перевел рассказ Э. Кестнера для детей "Мальчик из спичечной коробки" (1966)¹⁴. В эти же годы он опубликовал свои переводы двух современных пьес "Геркулес и Авгиевы конюшни" (1969)¹⁵ Фридриха Дюрренматта и "Дон Жуан, или любовь к геометрии" Макса Фриша (1970)¹⁶.

Переводы Богатырева стихотворений Рильке первоначально только ходили по рукам. Но уже в 1961 году Анна Ахматова послала Богатыреву книгу своих стихов с благодарностью "за чудесные переводы Рильке".¹⁷ До 1962 года Рильке был практически запрещен в Советском Союзе. После того как Фадеев в 1950 году отрицательно отозвался о нем (как впрочем почти обо всем, что было тогда на Западе)¹⁸, не могло быть и речи о его изданиях. В 1962 году Ленинградский германист Владимир Адмони опубликовал статью о Рильке и его связях с Россией.¹⁹ В 1965 году впервые после 1919 года он

издал сборник стихов Рильке в переводах Тамары Сильман.²⁰ В предисловие В. Адмони включил и два перевода Б. Пастернака. Эти публикации помогли друзьям немецкой литературы, в частности К. Азадовскому и Л. Черткову²¹, бороться за новые издания Рильке, за исследование его творчества. Лев Копелев в 1965 году в рецензии на сборник Рильке впервые представил русскому читателю Константина Богатырева как переводчика Рильке, приводя полный текст его перевода "Испанской танцовщицы"²². В 1966 году Богатыреву удалось напечатать свои переводы шести стихотворений Рильке. Также как раньше стихи Кестнера это была публикация в провинциальном издании (журнал "Литературная Грузия")²³. В том же году благодаря помощи Анны Ахматовой он стал членом Союза писателей. В последующие годы он участвовал уже во всех сборниках переводов Рильке (1971, 1974 и 1976 гг.)²⁴. И только после его смерти вышел том "Новые стихотворения" Рильке в переводах Богатырева: это была вершина его творчества.²⁵

В 1975 году в Советском Союзе был издан том австрийской поэзии. К особенностям советского политического языка относится подчеркивание отдельности немецких литератур. Литературно-мыслящим людям нелегко воспринимать такое разделение немецкой литературы Австрии и отдельно: Федеративной Республики Германии (включая Западный Берлин), Швейцарии, ГДР. (Непонятно, что должно служить критерием: место рождения, место пребывания (но когда?) или гражданство?) Богатырев представлен в австрийском томе переводами из Пауля Целана и Ингеборг Бахман.²⁶

Из средневековой и классической немецкой литературы Богатырев переводил мало. В 1974 году в "Избранное" Адельберта фон Шамиссо были включены и три стихотворения в переводах Богатырева²⁷, в 1975 году он перевел для сборника литературоведческих и критических работ Гёте, в составлении которого участвовал Лев Копелев, 18 статей и заметок.²⁸ В том же году он перевел 900 стихов из "Тристана и Изольде" Готфрида Страсбургского²⁹. Только после его смерти в Москве вышел двухтомник Геббеля, содержащий и Богатыревский перевод драмы "Ирод и Мариамна" 1978.³⁰

Авторы многих статей подчеркивают чрезвычайно большие заслуги Богатырева, приблизившего Рильке к русским читателям. Это проявилось и в рецензиях, появившихся в советской печати, в том числе

и в отзыве Корнея Чуковского.³¹ Однако нигде не упоминается о начале восприятия Рильке в России в десятые годы этого века.³² Возможно, что не всем, как Богатыреву, были известны работы Брюсова, Анисимова, переведшего "Часослов" в 1913 году, или Биска, издавшего томик стихов в Одессе в 1919 году, и особенно многочисленные переводы первой эмиграции (Терапиано, Оцуп, Г. Струве). Глеб Струве, который в двадцатые годы опубликовал несколько переводов из Рильке в Берлинской газете "Руль", в 1969 году, прочитав в "Новом журнале" в Нью Йорке стихи, переведенные Богатыревым, установил связь с молодым коллегой.³³ В замалчивании ранних переводов Рильке сказываются отрицательные последствия культурной замкнутости Советского Союза, которая возникла вследствие подавления информации о многостороннем развитии за рубежом, особенно в духовной жизни эмиграции и вследствие одностороннего изображения русской философской и религиозной мысли.

Константин Богатырев хотел прорвать установленные государством преграды, изолирующие культурную жизнь советских граждан от всего окружающего мира. Он искал контакты с зарубежными коллегами, переписывался, принимал их у себя. Ему самому не предоставили возможности поехать за-границу. Но тот, кто приходил к нему, становился желанным гостем; он осыпал посетителей вопросами, он умел необычайно напряженно слушать, покорял собеседника, вовлекал его в круг своего очарования. В этой книге много свидетельств редкостного дарования Богатырева с помощью слова - слова произнесенного и слова воспринятого - приобретать и сохранять друзей. Он был способен страстно увлекаться, страстно и безоглядно воодушевляться - поэтом, стихотворением, человеком, словом. И так же страстно мог он осудить, отвергнуть... Его эмоциональность может служить ключом к его поэтическому чутью, конгениальности его поэтических переводов, а во многих случаях и ключом к той притягательной силе, которую ощущали люди, приближавшиеся к нему.

Он не принадлежал к числу известных диссидентов. Но он был одним из тех, кто подписал письмо в защиту Синявского и Даниэля в 1966 году. И когда его другу Владимиру Войновичу грозило исключение из Союза писателей, он взялся за перо, чтобы напомнить функционерам Союза, сколько вреда они причинили такими исключениями русской литературе и престижу советского государства. Он напомнил им стихи Пастернака, написанные после Нобелевской премии "Я

пропал как зверь в загоне".³⁴ Он не мог молчать, потому что молчание перед лицом несправедливости казалось ему соучастием.

Богатырев дружил не только с людьми, как он тесно связанными с немецкой литературой. К его ближайшим друзьям принадлежали и писатель Владимир Войнович, ученый физик и лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров и чувашский поэт Геннадий Айги. Крайне сгущенные, эллиптические, нерифмованные стихи Айги делают его одним из наиболее современных поэтов, пишущих по-русски. В их духовности и религиозности ощутима непосредственная связь с лирикой Рильке и Пастернака. Возможно и этим объяснимо то, как чрезвычайно высоко ценил Богатырев поэзию Айги. Когда Карл Дедедиус первым решился познакомить немецких читателей с этим поэтом (сборник "Beginn der Lichtung" 1971³⁵), Богатырев помогал ему, комментируя оригиналы и переводы. Таким образом и этот друг попал в кругозор немецкой литературы.

Когда немецкие газеты выступили с принципиальным протестом против фальсификаций в переводе романа Генриха Бёлля "Групповой портрет с дамой", Богатырев вместе с американским ученым Генри Глейдом взялся за кропотливый филологический анализ.³⁶ Как и в стихах Айги, так и в романе Бёлля занимали Константина исключительно проблемы правильности перевода. Богатырев был высокообразованным филологом. Вероятно и поэтому Василий Аксенов, который воздвиг ему своеобразный памятник, в одной из сцен романа "Поиски жанра", изобразив его не упоминая ни имени ни фамилии, называет его то "поэтом", то "профессором".³⁷

Известен один случай выступления Богатырева в фильме. В 1969 году Генрих Бёлль написал сценарий для телевизионного фильма "Ф.М. Достоевский и Петербург" (вместе с Эрихом Коком). Это была седьмая часть в серии "Писатель и его город". Бёлль был дружен с Богатыревым и они не только летом 1968 года вели предварительные разговоры, готовясь к съемкам, но Костя и сам выступил в этом фильме, он спел старую петербургскую песню. В этом случае он впервые представил русское слово немецкой публике, тогда как обыкновенно он представлял немецкую культуру людям своей родины.

Нападение 26-го апреля 1976 года в лестничной клетке перед его квартирой было совсем неожиданным, хотя он два дня до этого позвонил одному другу и говорил о "больших неприятностях", ничего не

конкретизуя. Удары убийцы (или убийц) проломили череп. После долгих недель мучений он умер 18-го июня 1976 года в 7.35 часов. Сообщение о его смерти вызвало "огромное потрясение не десятков, а сотен людей", как говорится в письме тех дней. Смущали таинственные обстоятельства - у него было много друзей, но не было врагов, и его не ограбили, Союз писателей не опубликовал некролога... Все это вызвало и укрепляло подозрения, что это было задумано как "показательное избиение", как существуют "показательные судебные процессы". И об этом говорится и в некоторых статьях этого сборника. В духовном смысле смерть Богатырева была смертью-жертвой. Об этом убедительно пишет Геннадий Айги. Любой из его друзей и тех, кто близок ему по мировоззрению мог погибнуть так же. Каждая смерть напоминает нам о неизбежности нашей смерти. Но если убийство близкого человека заставляет думать, что любого из нас могут также убить, то серьезность вопроса повышается, то становится гораздо труднее принять смерть в любой форме и в любой миг как назначенную нам судьбу. То такая смерть - жертва.

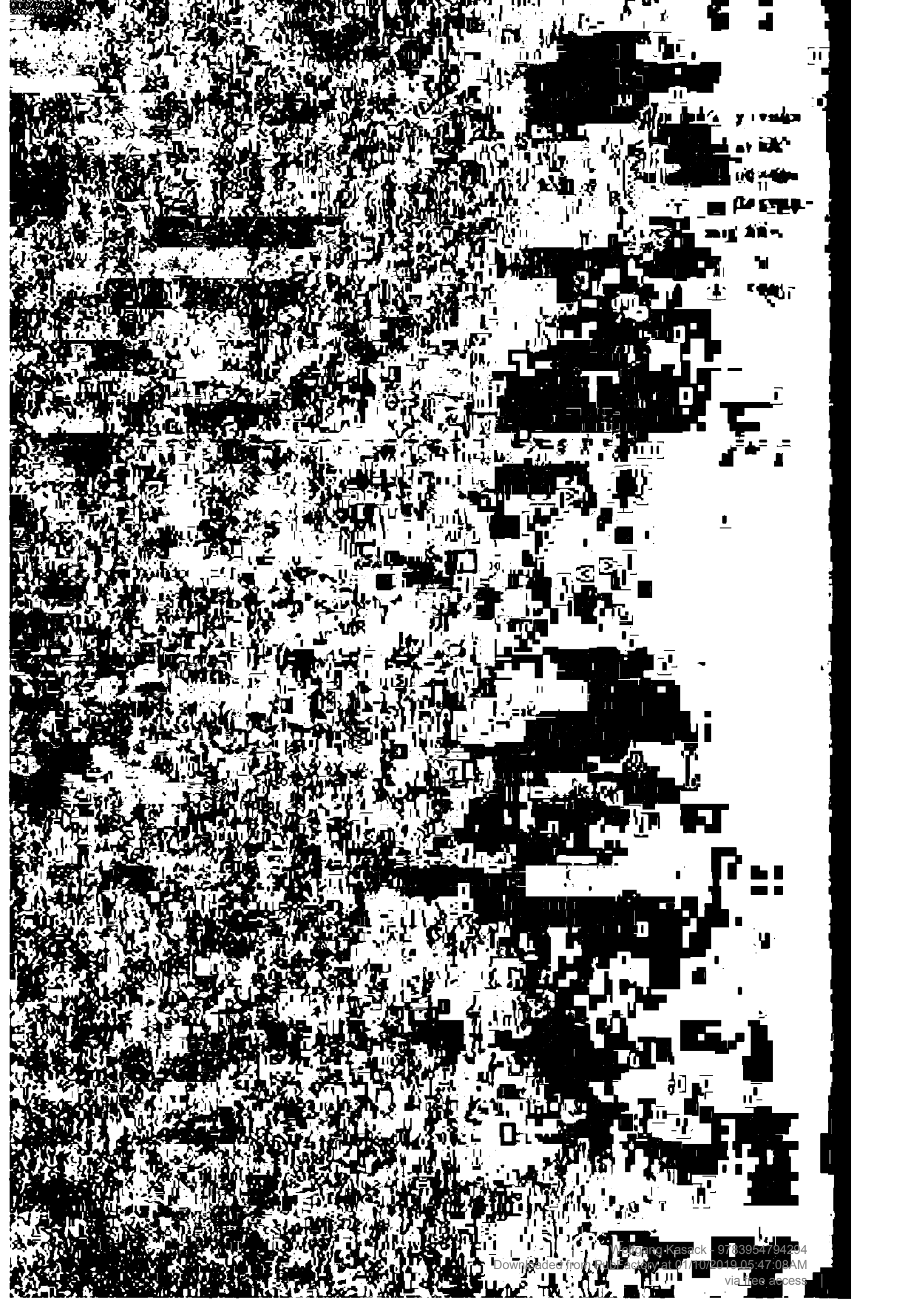
Похороны показали общественности и утвердили открыто верность его друзей. В атеистическом государстве церковные похороны являются подвигом. По Богатыреву отслужили панихиду как в свое время по Пастернаку и в той же церкви в Переделкине. Около трехсот друзей пришло, чтобы проститься, среди них Андрей Сахаров с женою, авторы этого сборника, а так же писатели Искандер, Евтушенко, Даниэль, Корнилов.³⁸ Аксенов впоследствии написал: "Нелеп выбор невинной жертвы, но сама невинная жертва полна смысла, лепости и благодати."³⁹

Смерть настигла Константина Богатырева вскоре после истечения того двадцатипятилетнего срока, на который его осудили в 1951 году взамен смертной казни. Войнович сказал у могилы, что теперь был исполнен первоначальный приговор.⁴⁰ Богатырев плодотворно использовал эти двадцать пять лет. Недели допросов и годы лагерного труда подорвали его физическое и психическое здоровье, так что его посетителям часто трудно было "отличить улыбку от нервной гримасы, искажавшей его лицо".⁴¹ Но его духовное здоровье в эти годы мучений окрепло. Ироническая отстраненность, характерная для его речи, была, вероятно, углублена опытом общения с людьми, которые стали орудиями дьявола. Об этом говорить он

почти не мог. Но даром чтения стихов, балаганным комизмом устных рассказов его наделила судьба, так же как и любовью к немецкой литературе и его обязывающей готовностью помочь близкому, помочь другу. Однажды ему предложили решить, кого он ценит выше: Пастернака или Рильке. Он сказал Пастернака, и объяснил "он умел любить".⁴²

Мы надеемся, что доля этой любви, которую вызывал и сам Константин Богатырев, с этим сборником вернется к нему.

ИЗБРАННОЕ



ОБ ЭРИХЕ КЕСТНЕРЕ

*Я поздравляю вас, как я отца
поздравил бы при той же обстановке.*

Б. Пастернак

Я родился под счастливой звездой: когда мне было лет десять или двенадцать, я прочитал главные детские романы Эриха Кестнера: "Эмиль и детективы", "Эмиль и трое близнецов", "Летающий класс", "Кнопка и Антон", "35-е мая".

Я знаю, что только очень немногие из моих русских сверстников могли прочесть в детстве эти книги: к тому времени из книг Кестнера на русский язык была переведена лишь одна - "Фабриан". Но даже из детей, умевших читать по-немецки, лишь немногие могли достать эти книжки: в магазинах они не продавались. Мне же их присылал мой отец, живший тогда за границей.

Около сорока лет тому назад я влюбился в произведения Эриха Кестнера и я останусь верен этой любви до конца жизни.

В те далекие годы я знал только одного Кестнера и не подозревал о существовании "пяти остальных Кестнеров" (как известно, Торнтон Уайлдер насчитал их целых шесть!). Тем более я не мог предвидеть, что много, много лет спустя начну переводить стихи и прозу. А переводить его я начал в лагере, в Воркуте. Я помнил наизусть его стихотворение "Другая возможность" и в один не очень прекрасный день, стоя с лопатой в руках, без карандаша и бумаги, часа за два перевел это стихотворение на русский язык. Некоторое время спустя в том же лагере мой друг по злоключениям - Гейнц Шмидт-Зора как-то продекламировал мне стихотворение Кестнера "Судьба одного стилизованного негра". Я выучил стихотворение наизусть и вскоре перевел его. Так я стал профессиональным поэтом-переводчиком. В лагере же я начал переводить стихи Рильке. Эти два поэта стали моей главной "специальностью". На сегодняшний день я перевел большое число стихов Эриха Кестнера⁴³, его роман для детей "Мальчик из спичечной коробки"⁴⁴ и книгу Рильке "Новые стихотворения"⁴⁵. В моем сознании эти два столь непохожих поэта

как бы породнились. Я перевожу их параллельно и, видимо, по этой причине вижу в них даже немало общего.

Пересоздавая заново стихи, переводчик, как мне кажется, имеет право видеть в них то, чего не видят другие - те, кто читают его стихи в немецком оригинале, включая и исследователей его творчества. И поскольку перевод - не переводная картинка, переводчик имеет право видеть в переводимых им стихах даже то, чего не видит в них сам автор.

Я думал над тем, как мне отметить юбилей любимого поэта. Сначала я специально к юбилею перевел его великолепное стихотворение "Последний сон Дон Жуана"⁴⁶. Но уже осуществив этот перевод, я понял, что ни один печатный орган в Советском Союзе такого стихотворения не напечатает и, следовательно, мой подарок автору получился каким-то неполноценным. Тогда я решил поделиться уже с немецким читателем кое-чем из того, что я пережил в процессе работы над переводами стихов Эриха Кестнера.

Кестнер часто писал о себе самом. Во многих его статьях и речах разбросаны высказывания о собственном творчестве. У него есть даже специальная статья о себе, которая так и называется - "Кестнер о Кестнере"⁴⁷. Ее обычно включают в библиографии исследований об Эрихе Кестнере. Я даже думаю, что это одна из лучших работ о нем. Есть у него и роман в письмах под заголовком "Письма к самому себе"⁴⁸.

Однако при всем этом пристальном внимании, которое Кестнер уделяет себе и своему творчеству, во всем этом самоуважении и кажущейся объективности немало несправедливого. Из-за эффектной маски само-критика и само-литературоведа порой выглядывает гримаса пренебрежения, проявляющегося в сугубой и принципиальной недооценке и искажении творческого облика писателя Эриха Кестнера.

В чем, например, заключается пафос статьи "Кестнер о Кестнере" в ее оценочной части?

Кестнер по словам автора статьи - моралист и рационалист. Он - правнук немецкого просвещения, неукоснительно соблюдающий три предъявляемых к себе требования: правдивость чувства, ясность мысли, простота в слове и фразе. И далее: "Он (т.е. Кестнер - К.Б.) верит в здравый смысл, как в чудо, и все было бы прекрасно, если

бы он верил в чудо, но именно это ему и запрещает здравый смысл".

Итак, рационалист, запрещающий себе верить в чудо... Другими словами - поэт, запрещающий себе быть поэтом! Невольно вспоминаешь слова молодого Маяковского из поэмы "Человек", сказанные им о себе: "Каждое движение мое - огромное, необъяснимое чудо!"

Чудо и поэзия тогда были для Маяковского синонимами. Кестнер же ничтоже сумняшеся при каждом удобном случае подчеркивает, что он - не поэт. Он даже в стихах об этом пишет!

В речи, произнесенной им при получении премии имени Бюхнера, Кестнер напоминает о существующем - только в Германии - (по его словам) делении на "поэтов" и "писателей". И хотя он считает такое деление недоразумением, тем не менее безусловно подразумевается, что себя он относит именно к "писателям".

Итак, - рационалист, моралист и учитель (иначе чем же объяснить его пристрастие к писанию книг для детей!), по своей социальной функции стоящий ближе всего к ремесленнику... Во всяком случае - НЕ ПОЭТ, и что яснее ясного - НЕ ГЕНИЙ. А это и стремится доказать главный исследователь творчества Кестнера - Эрих Кестнер. Но самое удивительное, что в фарватере его рассуждений о себе послушно следуют авторы статей о нем и предисловий к собраниям его сочинений, рецензенты и исследователи. Когда читаешь эти работы, создается впечатление будто их авторы панически боятся "перехвалить" предмет их исследований.

Так например, Рудольф Вальтер Леонгардт пишет в предисловии к книге "Кестнер для взрослых": "Уже доказана практическая пригодность и малая изнашиваемость кестнеровского творчества. (Итак, - ремесленник, и скорее всего - сапожник - К.Б.) Допускаю, что критики филологического направления не сочтут подобные критерии мериллом литературного ранга. *Но чисто литературная оценка кажется мне здесь неуместной!*"⁴⁹ (Подчеркнуто мною - К.Б.).

Германн Кестен в предисловии к семитомному собранию сочинений⁵⁰ Кестнера, хотя и признает, что у Кестнера есть несколько (!) прекрасных стихотворений, в дальнейшем ходе своих рассуждений все время как бы одергивает себя, чтобы - не дай бог! - не перехвалить писателя. У него нехватает духу сказать: "Kästner hat ein großes Talent" и потому он пишет: "Kästner hat ein großes Formtalent".

Но может быть и впрямь нет оснований говорить о "большом та-

ланте" поэта Эриха Кестнера? Тогда почему же каждый раз, когда я перечитываю или перевожу стихи обожаемого мною автора (борюсь про- изнести - поэта), мне лезут на ум строки другого стихотворца, на этот раз наверняка не рационалиста, не моралиста и не учителя, а поэта в самом прямом значении этого слова, к тому же еще поэта божьей милостью - Бориса Пастернака? Почему так часто поражает сходство двух столь непохожих поэтов, прямо-таки антиподов? Откуда оно берется, это сходство? Но может быть так кажется только мне? Может быть это дефект моего восприятия или сознания?

Когда-то в конце пятидесятих годов, я, встретивши на улице ныне покойного писателя Юрия Олешу, прочитал ему несколько стихотворений Кестнера в моих переводах. Скорее всего это были "Осень по всему фронту" и "Воскресенье в маленьком городе". Юрий Олеша воскликнул: "Да ведь это же типичный Пастернак!"

Конечно, и это можно объяснить тем, что переводчик, то есть я, настолько "пропастерначил" свои переводы, что они утратили сходство с подлинником. Но тут на помощь мне приходят слова выдающегося знатока русской поэзии и в частности поэзии Пастернака - Рольфа Дитриха Кайля, который в одном из писем ко мне писал о большом сходстве им увиденном в стихах Кестнера и Пастернака.

Что же, в конце концов, определяет это сходство?

Я думаю, что прежде всего и главным образом оно заключается в том, что труднее всего поддается конкретному выявлению, а именно - в и н т о н а ц и и. Я имею в виду движение, динамику, синтаксис стиха. Но также и особую организующую силу рифмы и ее структуру.

"Простота в слове и фразе", о которой пишет Кестнер и к которой всю жизнь настойчиво стремился Пастернак, конечно, тоже в значительной мере определяет их сходство.

И все это несмотря на то, что речь идет об антиподах в главном - в самом взгляде на поэзию, в философии искусства и жизни.

Конечно, и формальная разница между ними велика - несхожесть или прямая противоположность в метафорике, столь густо уснащающей стихи обоих поэтов, полная глухота Пастернака к иронии (Гейне - один из наиболее чуждых ему поэтов), определяющей стилистический принцип кестнеровского стиха и, даже, если так можно выразиться - составляющей самый пафос его поэзии. Вслед за Фридрихом Шлегелем Кестнер, повидимому, видит в иронии главное (общественное) досто-

инство критика и историка. Правда, использует ее он на гейневский лад. Er ist mehr witzig, als ironisch.

Простота нашла свое воплощение в предельной разговорности на той высочайшей ступени естественности, что читателю все время мерещится проза, но проза головокружительной точности и изысканной артистичности. Эта та *пограничность* явления, то хождение по острию ножа, когда стих - уже почти не стих, но еще не проза. Свойство это присуще тем большим поэтам, которые в одинаковой мере и большие прозаики, но о прозе которых принято говорить, что это - "проза поэта". Но не комплимент ли это для прозаика? При чтении стихов Пастернака и Кестнера в них мерещится проза и, наоборот, в прозе просвечивают стихи, как море сквозь стволы деревьев. "Мерцание" (термин Виктора Шкловского, придуманный им по сходному поводу) и есть то, что составляет подлинное искусство.

Есть у Пастернака стихотворение "На ранних поездах" из цикла под тем же названием. Это стихотворение, как правильно отметил Мишель Окутюрье в книге "Pasternak par lui-même"⁵¹, относится к числу наиболее прозрачных и обнаженных стихотворений Б. Пастернака. Другими словами оно безобразное, т.е. в нем почти полностью отсутствуют внешние атрибуты стиха (за исключением метра и рифмы), но что-то едва уловимое роднит его с кестнеровской лирикой, в которой, пожалуй, еще реже, чем в пастернаковской, встречаются стихи без метафор - обнаженные стихи, по выражению М. Окутюрье. Видимо все дело в этой неуловимой магии стиха, без которой поэзия мертва. Она, эта магия, перехватывает горло и заставляет сильнее биться сердце.

И тут невольно задаешься вопросом: "А не дурачит ли нас исследователь собственного творчества - Эрих Кестнер, когда так настойчиво подчеркивает ремесленническое начало и обиходное предназначение своей поэзии?"

Я думаю, что непреходящее значение его лирики (да и не только лирики), как, впрочем, и всякой подлинной поэзии, заключается в том, что рациональная основа его стихотворений (но ведь рациональная основа, как словесный материал, присутствует в любой, даже самой "нематериальной" поэзии) в какой-то момент исчезает, точнее - соскальзывает, улетая в другое - четвертое - измерение. Мне иногда кажется, что я вижу секрет такого перехода, или, вернее,

могу указать "стартовую площадку" для подобного взлета. Здесь уместно добавить несколько слов к уже сказанному о рифме Кестнера. Точно также, как и рифма Пастернака, она отличается предельной точностью, богатством звучания и неожиданностью словесных сцеплений. При сталкивании рифмующие слова создают ту искру, которая выносит стихи в беспредельность. А иногда бывает иначе - рифма нагнетается, то есть возвращается по нескольку раз - и это воздействует на внутренний слух читателя как некий, постепенно усиливающийся, рокот моторов перед взлетом реактивного самолета... А может быть этот переход в другое измерение происходит гораздо более плавно, вроде описываемого Рильке в стихотворении "Слепнувшая":

... als ob nach einem Übergang

Sie nicht mehr gehen würde, sondern fliegen.

Конечно, я понимаю натянутость и потому неточность таких далеких сопоставлений, и все же мне кажется, что "Слепнувшая" - одно из лучших стихотворений о сущности поэзии.

Выше говорилось, что Кестнер даже в стихах с иронией говорит о поэте и поэзии. Я имел в виду стихотворение "Лессинг". Стихотворение это - программное, и в нем самого Кестнера не меньше, чем Лессинга. Мне кажется, что оно с головой выдает, может быть даже неожиданно для самого Кестнера, мистификаторское, хотя и программное "уничужение" поэтического начала за счет возвеличения "мужского" - т.е. прозаического начала. Или, быть может, это и есть как раз то, что Кестнер называет "точностью преувеличения"?

Стихотворение начинается строкой:

Das, was er schrieb, war manchmal Dichtung

Неплохой комплимент для классика - все-таки в заголовке сказано "Лессинг"!

И далее вторая строка:

Doch um zu dichten schrieb er nie.

Но для чего тогда?

Кестнер водит читателя за нос и все для того, чтобы подготовить его к заключительной строке четверостишия - блистательному афоризму:

Er war ein Mann und kein Genie

На этой строке мне хочется остановиться подробнее. Уж слишком разительно ее сходство со знаменитым изречением великого русского

поэта Некрасова:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан!

В течение долгих десятилетий это двустишие было заповедью для широких кругов русской интеллигенции. Оно стало ее лозунгом и казалось образцом выражения гражданских чувств. Но однажды Маяковский навсегда скомпрометировал это исречение, спародировав его следующим образом:

Поэтом можешь ты не быть,
Но зубы чистить ты обязан!

Такие пародии убивают наповал! Но попробуйте спародировать процитированную строчку Кестнера! Думаю, что это не удастся сделать самому Роберту Нейманну!⁵² Я беру на себя смелость судить об этом не просто как поклонник поэзии Эриха Кестнера, но как переводчик его стихов и в частности этого стихотворения. Ведь переводчик и пародист в сущности занимаются почти одним и тем же: предельно сохраняя (стихотворную) форму оригинала, они его *интерпретируют*.

Мне, во всяком случае, не удалось как следует, то есть адекватно, перевести главнейшую строчку стихотворения: я растянул ее из два стиха и тем самым уничтожил афоризм, ибо отнял у него лаконичность, предельную компактность.

И все-таки, в чем же конкретная разница между обоими афоризмами? Ведь речь-то в них идет по существу об одном и том же! И почему одно из них поддается пародированию, а другое - нет?

Мне кажется, что все дело в том, что афоризм Некрасова слишком лобовой, лозунговый и, следовательно, лишен поэтического содержания, хотя и уложен в правильный размер. Его выпренность прикрывает собой тот комизм словесной ситуации, который существует в ней вопреки желанию автора, но легко обнажается с помощью удачной пародии. Ложный пафос всегда комичен, нужно только уметь его обнаружить.

Другое дело - афоризм Кестнера. Строка: "Er war ein Mann und kein Genie" скрывает в себе гораздо больше непосредственно в ней высказанного. И это, конечно, входило в намерение автора. Когда Эрих Кестнер в своей бхнеровской речи⁵³ говорит о "фатальном противопоставлении "поэта" и "писателя" и о далеко идущих последствиях такого рода деления, то он, по существу, повторяет уже выс-

казанное им в стихотворении "Лессинг". Трагические ноты налицо. Здесь уже не до смеха, хотя и присутствует остроумие. Беда Аллеманн утверждает, что "ирония" не поддается выявлению на отдельном примере и что обычное ироническое замечание ближе к шутке, остроте, чем к иронии как таковой⁵⁴. Другими словами - ирония требует пространства. Конечно, элемент остроты вполне осязаем в вышеприведенном примере. Но это не обычная кестнеровская острота - в ней ощущается пространство, причем пространство историческое. Трагическая ирония содержится не столько в самом противопоставлении, сколько, повторяя выражение Кестнера в "далеко идущих последствиях" такого противопоставления. Строка оказалась, как мы видим, очень емкой.

А вот другое мое любимое стихотворение - "Тихий визит". В чем-то оно очень похоже на уже упоминавшееся стихотворение Пастернака "На ранних поездах": та же раскованность дикции, та же предельная разговорность и отсутствие украшений. Оно поражает эмоциональной сдержанностью и тактом. В этом его сила. Последняя, *пуантная*, строка имеет как бы обратную силу и, распространяясь на все стихотворение, согревает его живой теплотой, вынося его за пределы искусства по знаменитому слову Пастернака:

И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

У этого стихотворения есть еще одна примечательность. Третья его строфа написана в обычной для Кестнера остроумно-иронической манере. И это единственное ироническое замечание во всем стихотворении относится к господу богу. Этим подчеркивается, что автор накладывает табу на излюбленный свой прием, изменяет своему стилю во имя темы стихотворения: к главному предмету любви всей его жизни ирония недопустима! Она сохраняется лишь на периферии стихотворения, где бог иерархически оказывается на более низкой ступени по сравнению с матерью. О "периферийности" этой строфы свидетельствует и тот факт, что в некоторых изданиях эта строфа отсутствует и этим подтверждается недопустимость иронии в стихах, посвященных матери, даже если эта ирония не имеет прямого к ней отношения.

По-моему, это одно из лучших стихотворений в немецкой поэзии двадцатого века.

И все-таки, как это всем известно, Кестнер прежде всего сатирик. Его сатире посвящены многие страницы в различных исследованиях о нем. Мне же хочется сказать несколько слов о тех его сатирических произведениях, которые можно отнести к жанру так называемой "сатирической оды" (термин Юрия Тынянова). К стихам этого рода относятся "Ты знаешь край", "Голоса из братской могилы" и некоторые другие. Названные стихотворения интересны тем, что оба построены на одинаковом приеме. В каждое из них внесено по знаменитой цитате из классиков - в первом случае пародийно-искаженная строчка из Гете - "Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen", во втором - пародийно переосмысленная цитата из шиллеровской "Die Braut von Messina" - "Das Leben ist der Güter höchstes nicht". Эти цитаты наподобие камертона задают тон стихам. Стихи эти не являются пародиями в полном смысле слова, хотя на первый взгляд могут показаться таковыми, особенно первое. Скорее это - "скрытые" пародии, поскольку пародийный принцип соблюдается лишь в тоне, но не в слове. Но зато заданный тон сохраняется последовательно на протяжении всего стихотворения. Такой прием свойственен не только "сатирическим одам" Кестнера, но и некоторым чисто лирическим стихотворениям. Так, например, одно из изящнейших стихотворений Кестнера "Jardin du Luxembourg" я воспринимаю как пародию на Рильке, причем опять-таки как "скрытую" пародию. Лишь несколько почти незаметных для глаза намеков свидетельствуют о пародийной установке автора. Отправным моментом для этого пародирования избрано, как мне кажется, стихотворение Рильке "Das Karussell". В нем есть подзаголовок, совпадающий с заголовком кестнеровского стихотворения. Но это не главное. У Рильке встречается "отправное", на мой взгляд, для Кестнера слово - "irgendwohin", которое Кестнер преобразовал в "irgendwie". Но в обоих случаях эти слова ("irgendwohin" и "irgendwie") имеют отношения к девушкам, почти "бакфишам" и связаны с их эротическими переживаниями.

Вот те немногочисленные наблюдения над творчеством Эриха Кестнера, которые мне захотелось высказать в канун его юбилея - юбилея писателя, с которым я всю жизнь мечтал познакомиться, который написал мне несколько драгоценных писем, и которого я, по всей вероятности, никогда в жизни не увижу.

Э р и х К е с т н е р

ДРУГАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Когда бы мы вдруг победили
под звон литавр и пушек гром,
Германию бы превратили
в огромный сумасшедший дом.

Мы все - от молодая до старая -
такую школу бы прошли,
что прыгивали б с тротуара,
сержанта увидав вдали.

Страна бы закалила нервы,
народ свой загоняя в гроб.
Потомство для нее - консервы,
а кровь - малиновый сироп.

Когда бы мы вдруг победили,
немецким б стал загробный мир:
Попы погоны бы носили,
а бог - фельдмаршальский мундир.

Когда бы мы вдруг победили,
мы стали б выше прочих рас:
от мира бы отгородили
колючей проволокой нас.

Когда бы мы вдруг победили,
все страны разгромив подряд,
в стране настало б изобилье...
тупиц, холуев и солдат.

E r i c h K ä s t n e r

Die andre Möglichkeit

Wenn wir den Krieg gewonnen hätten,
mit Wogenprall und Sturmgebraus,
dann wäre Deutschland nicht zu retten
und gliche einem Irrenhaus.

Man würde uns nach Noten zählen
wie einen wilden Völkerstamm.
Wir sprängen, wenn Sergeanten kämen,
vom Trottoir und stünden stramm.

Wenn wir den Krieg gewonnen hätten,
dann wären wir ein stolzer Staat.
Und preßten noch in unsern Betten
die Hände an die Hosennaht.

Die Frauen müßten Kinder werfen.
Ein Kind im Jahre. Oder Haft.
Der Staat braucht Kinder als Konserven.
Und Blut schmeckt ihm wie Himbeersaft.

Wenn wir den Krieg gewonnen hätten,
dann wär der Himmel national.
Die Pfarrer trügen Epauletten.
Und Gott wär deutscher General.

Die Grenze wär ein Schützengraben.
Der Mond wär ein Gefreitenknopf.
Wir würden einen Kaiser haben
und einen Helm statt einen Kopf.

Когда бы разгромили мир мы,
блестяще выиграв войну,
мы спали бы по стойке "смирно",
во сне равняясь на жену.

Для женщин издан был закон бы:
В год по ребенку иль под суд.
Одни лишь пушки или бомбы
победы нам не принесут.

Тогда б всех мыслящих судили,
и тюрьмы были бы полны,
и войны чаще водевилей
разыгрывались в изобилье,
когда б мы только победили...

Но, к счастью, мы побеждены.

Э. Кестнер

Wenn wir den Krieg gewonnen hätten,
dann wäre jedermann Soldat.
Ein Volk der Laffen und Lafetten!
Und ringsherum wär Stacheldraht!

Dann würde auf Befehl geboren.
Weil Menschen ziemlich billig sind.
Und weil man mit Kanonenrohren
allein die Kriege nicht gewinnt.

Dann läge die Vernunft in Ketten.
Und stünde stündlich vor Gericht.
Und Kriege gäb's wie Operetten.

Wenn wir den Krieg gewonnen hätten -
zum Glück gewannen wir ihn nicht!

ПОСЛЕДНИЙ СОН ДОН-ЖУАНА

(Эскиз к гобелену)

Сон... но в яркой голубой оправе,
и гремит во всю оркестрион.
Лава женских тел в кипучем сплаве,
сон из середины без заглавья,
сон из лжи, безвкусицы и яви, -
бешеной мозаики разгон.

Сотни тел, застывших, как скульптуры,
перед ним сгрудились без прикрас, -
пышные мадонны и лемуры,
хрупкие и жирные фигуры,
скромные и блядские натуры,
сотни голых баб лежали враз.

Потрясенный, подошел он к груде
тел, нагроможденных напоказ -
шеи, бедра, животы и груди -
пахнущего мяса многопудье -
высились, как на огромном блюде,
и открылись сотни женских глаз.

Словно пожелали распуститься
мановением магии цветы:
задрожали в унисон ресницы,
изогнулись спины, поясницы,
всплыли тайны, запылали лица
и раскрылись похотливо рты.

Э. Кестнер

Don Juans letzter Traum
(Entwurf zu einem Gobelín)

Welch ein Traum aus blauem, gläsern klarem
Licht und aus Orchestrionmusik!
War's die Weibermühle? War's ein Harem?
Welch ein Traum aus Trug und Kitsch und Wahrem!
Aus Handgreiflichem und Wunderbarem -
welch ein ungestümes Mosaik!

Tausend Frauen, steif wie Gipsfiguren,
lagen nackt und hingemäht im Saal.
Feiste Kruppen, kindliche Konturen,
Häupter von Madonnen und Lemuren,
geile Herzoginnen, zahme Huren -
tausend Weiberleiber auf ein Mal.

Tonnen Fleisches umgaben den Verblüfften.
Weiße Ware, wie zum Ausverkauf,
Brüste, Schenkel, Haare, Hüften,
Dampf und Dunst aus Stallgeruch und Düften,
tausend Fraun, gestapelt wie in Gräften -
und dann schlugen sie die Augen auf!

Ihm erschien's, als öffneten sich Blüten,
lautlos aufgerufen durch Magie.
Wimpern zitterten und Wünsche sprühten.
Das Geheimnis war nicht mehr zu hüten.
Tausend Frauen dehnten sich und glühten -
ihn betraf's, und er erkannte sie!

Что за чудо их объединило,
этих дам, которых он познал:
покупал, умаливал, брал силой,
покрывал, как жеребец кобылу,
в них входил со стоном иль уныло -
что за чудо привело их в зал?

И в картине этой без заминки,
ярко, как бенгальские огни,
вспыхивали прошлого картинки -
золото, вино и яд в начинке,
поцелуи, шпаги, поединки,
выстрелы, интриги, западни.

Что за сон из прошлого уклада,
из былых ужимок, суетни!
Прошрое, с которым нету сладу,
прошрое, не знающее спада...
Сотни тел задвигались, как стадо,
и к нему направились они.

Нет, не стадо... Сросшись телесами,
надвигался на него теперь
весь кругом обвешанный грудями,
с сотнями влагалищ - алчный зверь.
Он все ближе подвигался к цели,
гадкий зверь, невиданный доселе,
весь безумьем диким обуян.
Сон сновидца победил в дуэли,
захрипев, тот вздыбился в постели...
Господа, так умер Дон Жуан.

Э. Кестнер

Was er sah, waren Erinnerungen.
Diese Fraun hatte er einst beschwätzt,
angefleht, gehaßt, bezahlt, gezwungen,
sanft umschlungen, wie ein Hengst besprungen,
seufzend war er in sie eingedrungen -
und Erinnerungen waren's jetzt...

Aus dem einen Bild, dem kolossalen,
blitzten immer neue Bilder auf,
wie bei Feuerrädern aus Bengalen:
Gold und Gift und kunstgesüßte Qualen,
Küsse, Schüsse, spanische Kabalen -
die Vergangenheit nahm ihren Lauf!

Welch ein Traum aus gestrigen Gebärden,
aus verwehitem Flüstern und Getu!
Das Gewesne ließ sich nicht gefährden,
lebte noch, fing wieder an zu werden -
und nun schwankten gar, wie weiße Herden,
diese tausend Leiber auf ihn zu!

Hochgescheucht von aufgetauten Lüsten,
tausendschöbig, zügelnd, krank vor Gier,
Bäuche schwenkend und behängt mit Brüsten
wie ein einziges, monströses Tier,
wälzte es sich näher, schwoll und schäumte,
troff und schrie, versessen aufs Versäumte
und mit tollen Augen, die nichts sahn!
Brausend sank der Traum auf den, der träumte,
sich ans Herz griff und erstickend bäumte -
so geschah's, ihr Herrn. So starb Don Juan.

Р а й н е р М а р и я Р и л ь к е

О ФОНТАНАХ

Я вглядываюсь пристально в рисунок
фонтанов, как в деревья из стекла.
Я собственные слезы узнаю в них,
когда-то, в пору сновидений юных,
рассыпанные мною без числа.

О, как я мог не вспомнить ощущения
небесных рук в вещах и обиходе,
не замечать величья вне сравнения
старинных парков над вечерней тенью,
не слышать всплесков девичьего пеня,
пробившегося за края мелодий,
чтоб явью стать, - как будто бы оно,
поднявшись ввысь, немедленно должно
в прудах отверстых жаждать отраженья?

Теперь, когда запомнил навсегда я
все, что стряслось с фонтанами и мной,
я тяжесть низверженья осязаю
в миг соприкосновения с водой.
Я знаю о ветвях, склонивших плечи,
о голосах, мерцающих, как свечи,
о тех прудах, что берегам навстречу
бегут, их повторяя неумело,
о небесах, ступающих несмело
к лесам, обуглившимся на закате
и мрачных оттого, что их некстати
забросило неведомо куда...

R a i n e r M a r i a R i l k e

VON DEN FONTÄNEN

Auf einmal weiß ich viel von den Fontänen,
den unbegreiflichen Bäumen aus Glas.
Ich könnte reden wie von eignen Tränen,
die ich, ergriffen von sehr großen Träumen,
einmal vergeudete und dann vergaß.

Vergaß ich denn, daß Himmel Hände reichen
zu vielen Dingen und in das Gedränge?
Sah ich nicht immer Großheit ohnegleichen
im Aufstieg alter Parke, vor den weichen
erwartungsvollen Abenden, - in bleichen
aus fremden Mädchen steigenden Gesängen,
die überfließen aus der Melodie
und wirklich werden und als müßten sie
sich spiegeln in den aufgetanen Teichen?

Ich muß mich nur erinnern an das Alles,
was an Fontänen und an mir geschah, -
dann fühl ich auch die Last des Niederfalles,
in welcher ich die Wasser wiedersah:
Und weiß von Zweigen, die sich abwärts wandten,
von Stimmen, die mit kleiner Flamme brannten,
von Teichen, welche nur die Uferkanten
schwachsinnig und verschoben wiederholten,
von Abendhimmeln, welche von verkohlten
westlichen Wäldern ganz entfremdet traten
sich anders wölbten, dunkelten und taten
als wär das nicht die Welt, die sie gemeint...

Но я забыл, что каждая звезда
уединенья ищет в мирозданье,
что звезды редко плачут, но всегда
при встречах... И, возможно, их сиянье -
свидетельство о нашем пребыванье
в других мирах? Возможно, мы признанье
поэтов их снискали и сумели
их вдохновить? А может быть, на деле -
мы для чужих проклятий лишь мишени?
А вдруг мы только близкие соседи
их бога, о котором в дни трагедий
они с надеждой вспоминают, плача,
и чье изображение в передаче
на ищущих лучах их фонарей
вдоль наших лиц скользит игрой теней?..

Р.М. Рильке

Vergaß ich denn, daß Stern bei Stern versteint
und sich verschließt gegen die Nachbargloben?
Daß sich die Welten nur noch wie verweint
im Raum erkennen? - Vielleicht sind wir *oben*,
in Himmel anderer Wesen eingewoben,
die zu uns aufschauen abends. Vielleicht loben
uns ihre Dichter. Vielleicht beten viele
zu uns empor. Vielleicht sind wir die Ziele
von fremden Flüchen, die uns nie erreichen,
Nachbarn eines Gottes, den sie meinen
in unsrer Höhe, wenn sie einsam weinen,
an den sie glauben und den sie verlieren,
und dessen Bildnis, wie ein Schein aus ihren
suchenden Lampen, flüchtig und verweht,
über unsere zerstreuten Gesichter geht...

R. M. Rilke

РАННИЙ АПОЛЛОН

Как иногда в сплетенье неодетой
листвою чаши проникает плеск
весны в разливе утра, - так и это
лицо свободно пропускает блеск

стихов, сражающих нас беспощадно;
ведь все еще не знает тени взгляд,
и для венца еще виски прохладны,
и из его бровей восстанет сад

высокоствольных роз лишь много позже,
и пустит в одиночку лепестки,
чтоб рта его коснулись первой дрожи,

пока еще недвижимого, но с гибкой,
по каплям отливающей улыбкой
струящегося пения глотки.

Р.М. Рильке

FRÜHER APOLLO

Wie manches Mal durch das noch unbelaubte
Gezweig ein Morgen durchsieht, der schon ganz
im Frühling ist: so ist in seinem Haupte
nichts was verhindern könnte, daß der Glanz

aller Gedichte uns fast tödlich träfe;
denn noch kein Schatten ist in seinem Schauen,
zu kühl für Lorbeer sind noch seine Schläfe
und später erst wird aus den Augenbraun

hochstämmig sich der Rosengarten heben,
aus welchem Blätter, einzeln, ausgelöst
hintreiben werden auf des Mundes Beben,

der jetzt noch still ist, niegebraucht und blinkend
und nur mit seinem Lächeln etwas trinkend
als würde ihm sein Singen eingeflößt.

ЖАЛОБА ДЕВУШКИ

Эта склонность, эта тяга
к одиночеству за благо
почитались в детстве мной.
У других - возня, раздоры,
у меня - мои просторы,
дали, близи, шорох шторы,
звери, образы, покой.

Я от жизни без предела
только брать и брать хотела,
чтоб себя познать в себе.
Разве не во мне величье?
Но от прежних лет в отличие
жизнь чужда моей судьбе.

Вопреки всем ожиданиям
благо стало наказаньем
с ростом девичьей груди.
Стоя на ее вершинах,
чувство жаждет крыл орлиных
или в смерти изойти.

Р.М. Рильке

MÄDCHEN-KLAGE

Diese Neigung, in den Jahren,
da wir alle Kinder waren,
viel allein zu sein, war mild;
andern ging die Zeit im Streite,
und man hatte seine Seite,
seine Nähe, seine Weite,
einen Weg, ein Tier, ein Bild.

Und ich dachte noch, das Leben
hörte niemals auf zu geben,
daß man sich in sich besinnt.
Bin ich in mir nicht im Größten?
Will mich Meines nicht mehr trösten
und verstehen wie als Kind?

Plötzlich bin ich wie verstoßen,
und zu einem Übergroßen
wird mir diese Einsamkeit,
wenn, auf meiner Brüste Hügeln
stehend, mein Gefühl nach Flügeln
oder einem Ende schreit.

ПЕСНЬ ЛЮБВИ

О как держать мне надо душу, чтоб
она твоей не задевала? Как
ее мне вырвать из твоей орбиты?
Как повести ее по той из троп,
в углах глухих петляющих, где скрыты
другие вещи, где не дрогнет мрак,
твоих глубин волною не омытый?
Но все, что к нам притронется слегка,
нас единит, - вот так удар смычка
сплетает голоса двух струн в один
Какому инструменту мы даны?
Какой скрипач в нас видит две струны?
О песнь глубин!

Р.М. Рильке

LIEBES-LIED

Wie soll ich meine Seele halten, daß
sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie
hinheben über dich zu andern Dingen?
Ach gerne möcht ich sie bei irgendwas
Verlorenem im Dunkel unterbringen
an einer fremden stillen Stelle, die
nicht weiterschwingt, wenn deine Tiefen schwingen.
Doch alles, was uns anrührt, dich und mich,
nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich,
der aus zwei Saiten *eine* Stimme zieht.
Auf welches Instrument sind wir gespannt?
Und welcher Geiger hat uns in der Hand?
O süßes Lied.

ЭРАННА - САФО

Ты - сильней метательниц копья!
Я - копье на поле брани
среди других вещей. Твое звучанье
отшвырнуло вдаль меня. Где я?
Кто ответить в состояньи?

Сестры мыслят мною и поныне
в том же доме, где меня не стало.
Я - отринута. Я - на чужбине.
Я, как просьба, вся затрепетала:
ведь горит от моего накала
среди мифов дивная богиня.

Р.М. Рильке

ERANNA AN SAPPHO

O du wilde weite Werferin:
Wie ein Speer bei andern Dingen
lag ich bei den Meinen. Dein Erklingen
warf mich weit. Ich weiß nicht wo ich bin.
Mich kann keiner wiederbringen.

Meine Schwestern denken mich und weben,
und das Haus ist voll vertrauter Schritte.
Ich allein bin fern und fortgegeben,
und ich zittere wie eine Bitte;
denn die schöne Göttin in der Mitte
ihrer Mythen glüht und lebt mein Leben.

САФФ - ЭРАННЕ

Так узнай же беспокойство молний!
Я тебя, обвитый жезл, возьму
и, как смерть, тебя собой наполню,
как могила, передам всему -
всем вещам. И так свой долг исполню.

Р.М. Рильке

SAPPHO AN ERANNA

Unruh will ich über dich bringen,
schwingen will ich dich, umrankter Stab.
Wie das Sterben will ich dich durchdringen
und dich weitergeben wie das Grab
an das Alles: allen diesen Dingen.

R.M. Rilke

САФО - АЛКЕЮ

Фрагмент

Ты зачем сюда ко мне явился?
Нет надежды на сближенье душ,
если взгляд твой долу опустил
пред невысказанно-близким. Муж,

посмотри: мы эти вещи вскрыли
словом, славой себя покрыв.
Среди вас иссякла бы в бескрыльи
наша девственность, перебродив.

Мы себя уберегли от тлена,
пронеся нетронутыми над
толпами бескрылых. Митилена
вся, как яблонный вечерний сад,
запах зреющих грудей вдыхала,

в том числе и этих двух, моих,
двух, упущенных тобой, который
взгляд свой долу опустил. Жених,
уйди - моею лирой скоро
овладеет кто-то: все стоит.

Этот бог обоим не опора,
но когда он одного пронзит

- - - - -

Р.М. Рильке

SAPPHO AN ALKAIOS

Fragment

Und was hättest du mir denn zu sagen,
und was gehst du meine Seele an,
wenn sich deine Augen niederschlagen
vor dem nahen Nichtgesagten? Mann,

sieh, uns hat das Sagen dieser Dinge
hingerissen und bis in den Ruhm.
Wenn ich denke: unter euch verginge
dürftig unser süßes Mädchentum,

welches wir, ich Wissende und jene
mit mir Wissenden, vom Gott bewacht,
trugen unberührt, daß Mytilene
wie ein Apfelgarten in der Nacht
duftete vom Wachsen unsrer Brüste -.

Ja, auch dieser Brüste, die du nicht
wähltest wie zu Fruchtgewinden, Freier
mit dem weggesenkten Angesicht.
Geh und laß mich, daß zu meiner Leier
komme, was du abhälst: alles steht.

Dieser Gott ist nicht der Beistand Zweier,
aber wenn er durch den Einen geht

- - - - -

R.M. Rilke

ЖЕРТВА

О как расцветают каждой жилкой
плоти ароматные пласты!
Посмотри: я - стройный, гибкий, пылкий
по твоей вине. Но кто же ты?

Ухожу беззвучно и бесслезно.
Прошое осыпалось листвой.
Ты с улыбкой нависаешь звездной
над собой, а, значит, надо мной.

Детских лет и впечатлений груде
имя дам твое у алтаря.
Ты его воздвигла на безлюдье,
на венки пожертвовала груди,
волосами яркими горя.

Р.М. Рильке

OPFER

O Wie blüht mein Leib aus jeder Ader
duftender, seitdem ich dich erkenn;
sieh, ich gehe schlanker und gerader,
und du wartest nur -: wer bist du denn?

Sieh: ich fühle, wie ich mich entferne,
wie ich Altes, Blatt um Blatt, verlier.
Nur dein Lächeln steht wie lauter Sterne
über dir und bald auch über mir.

Alles was durch meine Kinderjahre
namenlos noch und wie Wasser glänzt,
will ich nach dir nennen am Altare,
der entzündet ist von deinem Haare
und mit deinen Brüsten leicht bekränzt.

ВОСТОЧНАЯ ДНЕВНАЯ ПЕСНЬ

Край ложа, на котором ты уснула,
как узкая полоска побережья.
Волна твоих грудей перевернула
все чувства, вырвав их из безмятежья.

И эта ночь надрыва и тревог,
в которой звери воем слух терзали,
предельно нам чужда. Но кто бы мог
поверить, что понятней нам едва ли
заря, которой занялся восток?

Нам так с тобой лечь друг в друга надо,
как вокруг тычинок лепестки ложатся.
Повсюду горы хаоса толпятся,
на нас готовясь рухнуть всей громадой.

Пока мы прижимаемся телами
друг к другу, чтобы не увидеть зла,
возможно, искра пробежит меж нами,
чтоб нас изменою спалить до тла.

Р.М. Рильке

ÖSTLICHES TAGLIED

Ist dieses Bette nicht wie eine Küste,
ein Küstenstreifen nur, darauf wir liegen?
Nichts ist gewiß als deine hohen Brüste,
die mein Gefühl in Schwindeln überstiegen.

Denn diese Nacht, in der so vieles schrie,
in der sich Tiere rufen und zerreißen,
ist sie uns nicht entsetzlich fremd? Und wie:
was draußen langsam anhebt, Tag geheiß,
ist das uns denn verständlicher als sie?

Man müßte so sich ineinanderlegen
wie Blütenblätter um die Staubgefäße:
so sehr ist überall das Ungemäße
und häuft sich an und stürzt sich uns entgegen.

Doch während wir uns aneinander drücken,
um nicht zu sehen, wie es ringsum naht,
kann es aus dir, kann es aus mir sich zücken:
denn unsre Seelen leben von Verrat.

ГРОБНИЦА ДЕВУШКИ

Не забыли. Словно все сначала
это вскоре повторится вновь.
Деревцем лимонным у канала
маленькие груди окунала
ты в разбушевавшуюся кровь

бога этого.

Он вне нападок,
он - беглец, но тронул вас крылом.
Он, как мысль твоя, - и жгуч, и сладок,
он - как тень, коснувшаяся радуг
юных бедер, как бровей излом.

Р.М. Рильке

GRABMAL
EINES JUNGEN MÄDCHENS

Wir gedenkens noch. Das ist, als müßte
alles dieses einmal wieder sein.
Wie ein Baum an der Limonenküste
trugst du deine kleinen leichten Brüste
in das Rauschen seines Bluts hinein:

- jenes Gottes.

Und es war der schlanke
Flüchtling, der Verwöhnende der Fraun.
Süß und glühend, warm wie dein Gedanke,
überschattend deine frühe Flanke
und geneigt wie deine Augenbraun.

R.M. Rilke

АВИСАГА

I

Она - дитя - на старце возлежала.
Ей слуги руки вокруг него обвили.
Тянулись сладкие часы в обилье
сквозь страх пред этой жизнью обветшалою.

От бороды его на крик совиный
она порою отводила взор.
И ночь подкатывала всей лавиной
со страхом и желаньем к ней в упор.

Звезда дрожала, как сестра, поодаль.
Прокрадывался запах к ней в альков.
И дрогнул занавес. И знак ей подал.
И тихо взгляд откликнулся на зов.

Но ночь ночей не тронула рабыни.
Она не отпускала старика.
На царственной она лежала стыни
и девственна, и, как душа, легка.

Р.М. Рильке

ABISAG

I

Sie lag. Und ihre Kinderarme waren
von Dienern um den Welkenden gebunden,
auf dem sie lag die süßen langen Stunden,
ein wenig bang vor seinen vielen Jahren.

Und manchmal wandte sie in seinem Barte
ihr Angesicht, wenn eine Eule schrie;
und alles, was die Nacht war, kam und scharte
mit Bangen und Verlangen sich um sie.

Die Sterne zitterten wie ihresgleichen,
ein Duft ging suchend durch das Schlafgemach,
der Vorhang rührte sich und gab ein Zeichen,
und leise ging ihr Blick dem Zeichen nach -.

Aber sie hielt sich an dem dunklen Alten
und, von der Nacht der Nächte nicht erreicht,
lag sie auf seinem fürstlichen Erkalten
jungfräulich und wie eine Seele leicht.

II

Царь, сидя, вспоминал пустой до тла
день дел свершенных и страстей в подспудье,
собаку, что годами с ним жила.
А ночью Ависага вновь свела
свой свод над ним. И жизнь его легла,
как на пустынном взморье в дни безлюдья,
под этим сводом, чьи созвездья - груди.

На миг он, избалованный любовью,
увидел сквозь свои седые брови
недвижный и нецеловавший рот.
Он знал, что чувств зеленая лозина
к его корням пути не обретет.
В ознобе он, как пес, что смерти ждет,
в своей крови искался пред кончиной.

)

Р.М. Рильке

II

Der König saß und sann den leeren Tag
getaner Taten, ungefühlter Lüste
und seiner Lieblingshündin, der er pflag -.
Aber am Abend wölbte Abisag
sich über ihm. Sein wirres Leben lag
verlassen wie verrufne Meeresküste
unter dem Sternbild ihrer stillen Brüste.

Und manchmal, als ein Kundiger der Frauen,
erkannte er durch seine Augenbrauen
den unbewegten, küsselosen Mund;
und sah: ihres Gefühles grüne Rute
neigte sich nicht herab zu seinem Grund.
Ihn fröstelte. Er horchte wie ein Hund
und suchte sich in seinem letzten Blute.

ДАВИД ПОЕТ САУЛУ

I

Царь, ты слышишь, как моя игра
дали расшвыряла, край за краем?
Вихрем нас относит к звездным стаям,
наконец, мы ливнем ниспадаем.
Там, где мы, всему цвести пора.

Девы, что тобою зажжены,
в женщин расцвели, меня тревожа.
Ты их запах ощущаешь тоже.
Мальчики стоят, напряжены,
у дверей волнуюсь, в них не вхожи.

Все вернуть я музыкою прочу!
Но дрожит неверно взятый тон.
Эти ночи, царь, о эти ночи!
Помнишь, как в часы любви воочью
расцветала красота тех жен!

Память я твою о них, о юных,
подберу. Но на каких же струнах
я возьму их темный, страстный стон?

Р.М. Рильке

DAVID SINGT VOR SAUL

I

König, hörst du, wie mein Saitenspiel
Fernen wirft, durch die wir uns bewegen:
Sterne treiben uns verwirrt entgegen,
und wir fallen endlich wie ein Regen,
und es blüht, wo dieser Regen fiel.

Mädchen blühen, die du noch erkannt,
die jetzt Frauen sind und mich verführen;
den Geruch der Jungfrau kannst du spüren,
und die Knaben stehen, angespannt
schlank und atmend, an verschwiegenen Türen.

Daß mein Klang dir alles wiederbrächte.
Aber trunken taumelt mein Getön:
Deine Nächte, König, deine Nächte -,
und wie waren, die dein Schaffen schwächte,
o wie waren alle Leiber schön.

Dein Erinnern glaub ich zu begleiten,
weil ich ahne. Doch auf welchen Saiten
greif ich dir ihr dunkles Lustgestöhn? -

II

Царь, ты все это имел в избытке,
жизнью исполинскою своей
смял мои потуги и попытки -
так возьми же арфу и разбей:
ты ее уж обобрал до нитки,

словно с дерева сорвал плоды.
И теперь в ветвях видна сквозная
даль времен, которых я не знаю,
дней грядущих светятся гряды.

Запретил бы спать мне с арфой, право!
Иль другое мне не по плечу?
Иль ты думаешь, что я октавы
тела женского не ухвачу?

Р.М. Рильке

II

König, der du alles dieses hattest
und der du mit lauter Leben mich
überwältigst und überschattest:
komm aus deinem Throne und zerbrich
meine Harfe, die du so ermattest.

Sie ist wie ein abgenommner Baum:
durch die Zweige, die dir Frucht getragen,
schaut jetzt eine Tiefe wie von Tagen
welche kommen -, und ich kenn sie kaum.

Laß mich nicht mehr bei der Harfe schlafen;
sieh dir diese Knabenhand da an:
glaubst du, König, daß sie die Oktaven
eines Leibes noch nicht greifen kann?

III

Царь, со мной во тьме играя в прятки,
все же ты теперь в моих руках.
Песнь мою не смять, не сморщить в складки,
только холод нас пробрал впотьмах.
Сердцем сирий я, а ты - заблудший.
Оба мы повисли в черной туче
бешенства, переплетаясь в схватке,
и друг в друга влившись впопыхах.

В этом единеньи чья заслуга?
Царь, мы в дух преобразили вес.
Нам бы впредь не отпускать друг друга -
юношу и старца - мчась по кругу
чуть ли не созвездьем средь небес.

Р. М. Рильке

III

König, birgst du dich in Finsternissen,
und ich hab dich doch in der Gewalt.
Sieh, mein festes Lied ist nicht gerissen,
und der Raum wird um uns beide kalt.
Mein verwaistes Herz und dein verworrenes
hängen in den Wolken deines Zornes,
wütend ineinander eingebissen
und zu einem einzigen verkrallt.

Fühlst du jetzt, wie wir uns umgestalten?
König, König, das Gewicht wird Geist.
Wenn wir uns nur aneinander halten,
du am Jungen, König, ich am Alten,
sind wir fast wie ein Gestirn das kreist.

СОБОР ИСУСА НАВИНА

Как в половодье, подступив к запруде,
река взрывает крепости плотин,
свой голос на израилевых судей
в последний раз низверг Иус Навин.

Как поразил их страх, как сшиб их наземь,
как замер смех, застыла суета!
Как будто тридцать битв гремели разом
в его устах. И он отверз уста.

Как в тот великий день под Ерихоном,
на тьму народа вновь нашел столбняк.
Но трубы - в нем! - зывали к легионам,
их жизнью стены сотрясая так,

что корчились они, от страха воя,
хотя еще не вспомнили о той
его всевластной дерзости, с какою
он в Гаваоне крикнул солнцу: "Стой!"

И бог пошел, испуганный, как раб,
и над побоищем держал светило.
Он дольше бы держал его, когда б
все тело от усталости не ныло.

Таков он был. Таков он был, старик,
в свои сто десять лет забытый всеми.
Кто б мог поверить, что он вновь возник?
Но вот он встал и опрокинул время.

Весь лагерь содрогнулся от удара:
"Что богу скажете? Неисчислим
сонм ждущих вас богов. Предайтесь им,
и вас тогда постигнет божья кара".

Р.М. Рильке

JOSUAS LANDTAG

So wie der Strom am Ausgang seiner Dämme
durchbricht mit seiner Mündung Übermaß,
so brach nun durch die Ältesten der Stämme
zum letzten Mal die Stimme Josuas.

Wie waren die geschlagen, welche lachten,
wie hielten alle Herz und Hände an,
als hübe sich der Lärm von dreißig Schlachten
in einem Mund; und dieser Mund begann.

Und wieder waren Tausende voll Staunen
wie an dem großen Tag vor Jericho,
nun aber waren in ihm die Posaunen,
und ihres Lebens Mauern schwankten so,

daß sie sich wälzten von Entsetzen trüchtig
und wehrlos schon und überwältigt, eh
sie's noch gedachten, wie er eigenmächtig
zu Gibeon die Sonne anschrie: steh:

Und Gott ging hin, erschrocken wie ein Knecht,
und hielt die Sonne, bis ihm seine Hände
wehtaten, ob dem schlachtenden Geschlecht,
nur weil da einer wollte, daß sie stände.

Und das war dieser; dieser Alte wars,
von dem sie meinten, daß er nicht mehr gelte
inmitten seines hundertzehnten Jahrs.
Da stand er auf und brach in ihre Zelte.

Er ging wie Hagel nieder über Halmen:
Was wollt ihr Gott versprechen? Ungezählt
stehn um euch Götter, wartend daß ihr wählt.
Doch wenn ihr wählt, wird euch der Herr zermalmen.

R.M. Rilke

Потом, всей силой своего презренья:
"Мой дом и я - мы верность сохраним".

И хором все: "Нам знак яви к спасенью,
ведь тяжесть выбора раздавит нас!"

Но он, как встарь, не говоря ни слова,
поднялся в гору, молча и сурово.
Все видели его. В последний раз.

Р.М. Рильке

Und dann, mit einem Hochmut ohnegleichen:
Ich und mein Haus, wir bleiben ihm vermählt.

Da schrien sie alle: Hilf uns, gib ein Zeichen
und stärke uns zu unserer schweren Wahl.

Aber sie sahn ihn, wie seit Jahren schweigend,
zu seiner festen Stadt am Berge steigend;
und dann nicht mehr. Es war das letzte Mal.

УХОД БЛУДНОГО СЫНА

Уйти, оставив хаос непокорный,
не ставший нашим, нам принадлежа,
что, словно горный ручеек проворный,
неверно отражает нас, дрожа;
покинуть это все, шипами терна
цепляющееся за нас, уйти
и обрести
Того и Тех, прозрев
(они так будничны и так привычны),
открыть глаза, увидеть мир вторично,
но заново, сменив на милость гнев;
внезапно догадаться, как безлично
страдание готовит свой посев,
чтоб с детских лет нас одарить сполна, -
и все ж уйти: черта подведена.
Разбередив залеченную рану,
уйти: куда? В неведомые страны,
в далекий край недвижности и сна,
стоящий, как кулисы, постоянно
и безразлично: сад или стена.
Уйти: зачем? Но в этом суть порыва,
надежды смутной и нетерпеливой,
что недомыслием порождена:

Тащить всю тяжесть бытия земного
и выронить в растерянности, чтоб
сойти в уединеньи горьком в гроб -

И это ли начало жизни новой?

Р.М. Рильке

DER AUSZUG
DES VERLORENEN SOHNES

Nun fortzugehn von alledem Verworrnen,
das unser ist und uns doch nicht gehört,
das, wie das Wasser in den alten Bornen,
uns zitternd spiegelt und das Bild zerstört;
von allem diesen, das sich wie mit Dornen
noch einmal an uns anhängt - fortzugehn
und Das und Den,
die man schon nicht mehr sah
(so täglich waren sie und so gewöhnlich),
auf einmal anzuschauen: sanft, versöhnlich
und wie an einem Anfang und von nah;
und ahnend einzusehn, wie unpersönlich,
wie über alle hin das Leid geschah,
von dem die Kindheit voll war bis zum Rand -:
Und dann doch fortzugehen, Hand aus Hand,
als ob man ein Geheiltes neu zerrisse,
und fortzugehn: wohin? Ins Ungewisse,
weit in ein unverwandtes warmes Land,
das hinter allem Handeln wie Kulisse
gleichgültig sein wird: Garten oder Wand;
und fortzugehn: warum? Aus Drang, aus Artung,
aus Ungeduld, aus dunkler Erwartung,
aus Unverständlichkeit und Unverstand: -

Dies alles auf sich nehmen und vergebens
vielleicht Gehaltnes fallen lassen, um
allein zu sterben, wissend nicht warum -

Ist das der Eingang eines neuen Lebens?

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

Весь серый, среди пепельной листвы,
он был маслин свисавших пропыленной.
Он шел, не вынимая головы
из раскаленной глубины ладоней.

Все в прошлом и неотвратим конец.
Ослепнув, я уйду. Но объясни же,
зачем Ты требуешь, чтоб я, слепец,
Тебя отыскивал, раз я не вижу.

Я больше не найду Тебя. Ни в ком.
Ни в этом камне. Ни в себе самом.
Я не найду Тебя ни в ком другом.

Я с горечью людской наедине.
Я мог с Тобой ее смягчить вполне.
Но нет Тебя. О стыд и горе мне!

По слухам ангел в нашей стороне.

Причем тут ангел? Ах, настала ночь
и равнодушно дерева листала.
Ученики легли в траве устало.
Причем тут ангел? Ах, настала ночь.

Ночь наступила, как и все другие,
как тысячи других ночей.
И камни спят, и псы сторожевые.
Печальная... И будто бы впервые
ждет пробужденья утренних лучей.

Р.М. Рильке

DER ÖLBAUM-GARTEN

Er ging hinauf unter dem grauen Laub
ganz grau und aufgelöst im Ölgelände
und legte seine Stirne voller Staub
tief in das Staubigsein der heißen Hände.

Nach allem dies. Und dieses war der Schluß.
Jetzt soll ich gehen, während ich erblinde,
und warum willst Du, daß ich sagen muß
Du seist, wenn ich Dich selber nicht mehr finde.

Ich finde Dich nicht mehr. Nicht in mir, nein.
Nicht in den andern. Nicht in diesem Stein.
Ich finde Dich nicht mehr. Ich bin allein.

Ich bin allein mit aller Menschen Gram,
den ich durch Dich zu lindern unternahm,
der Du nicht bist. O namenlose Scham ...

Später erzählte man: ein Engel kam -.

Warum ein Engel? Ach es kam die Nacht
und blätterte gleichgültig in den Bäumen.
Die Jünger rührten sich in ihren Träumen.
Warum ein Engel? Ach es kam die Nacht.

Die Nacht, die kam, war keine ungemeine;
so gehen hunderte vorbei.
Da schlafen Hunde und da liegen Steine.
Ach eine traurige, ach irgendeine,
die wartet, bis es wieder Morgen sei.

К подобной пастве ангел не слетает.
Ночь не возьмет таких под свой покров.
Кто потерял себя - в конце концов
тех матери родные отвергают,
проклятья им - наследство от отцов.

Р.М. Рильке

Denn Engel kommen nicht zu solchen Betern,
und Nächte werden nicht um solche groß.
Die Sich-Verlierenden läßt alles los,
und sie sind preisgegeben von den Vätern
und ausgeschlossen aus der Mütter Schooß.

R.M. Rilke

ПИЕТА

Твои ль это стопы, Иисус, твои ли?
И все же, о Иисус, как я их знаю:
не я ль их обмывала, вся в слезах.
Как в терн забившаяся дичь лесная,
они в моих белели волосах.

Их до сих пор ни разу не любили.
Я в ночь любви их вижу в первый раз.
С тобой мы лежа так и не делили.
И вот сижу и не смыкаю глаз.

О, эти раны на руках Иисуса!
Возлюбленный, то не мои укусы.
И сердце настезь всем отворено,
но мне в него войти не суждено.

Ты так устал, и твой усталый рот
не тянется к моим устам скорбящим.
Когда мы наш с тобою час обрящем?
Уже - ты слышишь? - смертный час нам

бьет.

Р.М. Рильке

PIETÀ

So seh ich, Jesus, deine Füße wieder,
die damals eines Jünglings Füße waren,
da ich sie bang entkleidete und wusch;
wie standen sie verwirrt in meinen Haaren
und wie ein weißes Wild im Dornenbusch.

So seh ich deine niegeliebten Glieder
zum erstenmal in dieser Liebesnacht.
Wir legten uns doch nie zusammen nieder,
und nun wird nur bewundert und gewacht.

Doch, siehe, deine Hände sind zerrissen -:
Geliebter, nicht von mir, von meinen Bissen.
Dein Herz steht offen und man kann hinein:
das hätte dürfen nur mein Eingang sein.

Nun bist du müde, und dein müder Mund
hat keine Lust zu meinem wehen Munde -.
O Jesus. Jesus, wann war unsre Stunde?
Wie gehn wir beide wunderbarlich zugrund.

R.M. Rilke

ПЕНИЕ ЖЕНЩИН, ОБРАЩЕННОЕ К ПОЭТУ

О, посмотри на нас! Взгляни, какой
в блаженстве мир. Он для тебя открыт.
Что в звере было смесью крови с тьмой,
то в нас душой стало и кричит,

к тебе взывая страстью вековой.
Но на лице внимательном твоём
читаем мы лишь кротость и покой.
Что ты совсем не тот, кого зовем,

нам кажется тогда. Но не в тебе ль
мы без остатка души растворили?
И разве есть у нас иная цель?

Все вечное уходит с нами в путь.
Лишь ты, вещун, остав свой голос в силе
и здесь, нас воспевающий, пребудь!

Р.М. Рильке

GESANG DER FRAUEN AN DEN DICHTER

Sieh, wie sich alles auftut: so sind wir;
denn wir sind nichts als solche Seligkeit.
Was Blut und Dunkel war in einem Tier,
das wuchs in uns zur Seele an und schreit

als Seele weiter. Und es schreit nach dir.
Du freilich nimmst es nur in dein Gesicht
als sei es Landschaft: sanft und ohne Gier.
Und darum meinen wir, du bist es nicht,

nach dem es schreit. Und doch, bist du nicht der,
an den wir uns ganz ohne Rest verlören?
Und werden wir in irgendeinem *mehr*?

Mit uns geht das Unendliche *vorbei*.
Du aber sei, du Mund, daß wir es hören,
du aber, du Uns-Sagender: du sei.

СМЕРТЬ ПОЭТА

Его недвижимый отчужденный лик
приподнят в изголовии отвесно.
Весь внешний мир с тем, что ему известно
об этом мире было, канул в бездну,
в довременьи и безучастьи сник.

Никто на свете ведь не знал о том,
насколько тесно он был с этим связан:
с водой этой, с глубиью этой, с вязом, -
что было это все его лицом.

И до сих пор его лицо - приманка
для шири, что была ему верна.
Мертвеет маска, но пока она,
как тронутая воздухом изнанка
плода, какой-то миг еще нежна.

Р.М. Фильке

DER TOD DES DICHTERS

Er lag. Sein aufgestelltes Antlitz war
bleich und verweigernd in den steilen Kissen,
seitdem die Welt und dieses von-ihr-Wissen,
von seinen Sinnen abgerissen,
zurückfiel an das teilnahmslose Jahr.

Die, so ihn leben sahen, wußten nicht,
wie sehr er Eines war mit allem diesen;
denn Dieses: diese Tiefen, diese Wiesen
und diese Wasser *waren* sein Gesicht,

O sein Gesicht war diese ganze Weite,
die jetzt noch zu ihm will und um ihn wirbt,
und seine Maske, die nun bang verstirbt,
ist zart und offen wie die Innenseite
von einer Frucht, die an der Luft verdirbt.

БУДДА

Он слушает как будто. Тишь простора...
А мы не слышим этой тишины.
И он - звезда. Он в самой гуще хора
тех звезд, которые нам не видны.

Он - это все. Но ждем ли мы всерьез,
что он увидит нас? О самомнении!
Да пусть пред ним мы рухнем на колени,
а что ему? Он - как ленивый пес.

Ведь все, что тянет нас к его ногам,
кружится в нем самом миллионлетья.
За наши знанья не в ответе,
он вечно недоступен нам.

Р.М. Рильке

BUDDHA

Als ob er horchte. Stille: eine Ferne...
Wir halten ein und hören sie nicht mehr.
Und er ist Stern. Und andre große Sterne,
die wir nicht sehen, stehen um ihn her.

O er ist Alles. Wirklich, warten wir,
daß er uns sähe? Sollte er bedürfen?
Und wenn wir hier uns vor ihm niederwürfen,
er bliebe tief und träge wie ein Tier.

Denn das, was uns zu seinen Füßen reißt,
das kreist in ihm seit Millionen Jahren.
Er, der vergißt was wir erfahren
und der erfährt was uns verweist.

БОГ В СРЕДНИЕ ВЕКА

И они его в себе несли,
чтоб он был и правил в этом мире,
и привесили к нему, как гири,
(так от вознесенья стерегли)

все соборы о едином клире
тяжким грузом, чтобы он, кружа
над своей бескрайнею цифирью,
но не преступая рубежа,

был их будней, как часы, вожатый.
Но внезапно он ускорил ход,
маятником их сбивая с ног,

и отхлынул в панике народ,
прячась в ужасе от циферблата.
И ушел, гремя цепями, бог.

Р.М. Рильке

GOTT IM MITTELALTER

Und sie hatten Ihn in sich erspart
und sie wollten, daß er sei und richte,
und sie hängten schließlich wie Gewichte
(zu verhindern seine Himmelfahrt)

an ihn ihrer großen Kathedralen
Last und Masse. Und er sollte nur
über seine grenzenlosen Zahlen
zeigend kreisen und wie eine Uhr

Zeichen geben ihrem Tun und Tagwerk.
Aber plötzlich kam er ganz in Gang,
und die Leute der entsetzten Stadt

ließen ihn, vor seiner Stimme bang,
weitergehn mit ausgehängtem Schlagwerk
und entflohn vor seinem Zifferblatt.

УЗНИК

I

Для того ль рука дана мне,
чтоб я тоску отгонял?
На старые камни
каплет влага со скал.

Я слышу лишь стук капли.
И сердце вместе с ней
рвется в то же ущелье,
или чуть быстрее.

Хоть бы, капли рассея,
появился бы зверь...
Где-то было светлее...
Да что мне теперь?..

Р.М. Рильке

DER GEFANGENE

I

Meine Hand hat nur noch eine
Gebärde, mit der sie verscheucht;
auf die alten Steine
fällt es aus Felsen feucht.

Ich höre nur dieses Klopfen
und mein Herz hält Schritt
mit dem Gehen der Tropfen
und vergeht damit.

Tropften sie doch schneller, .
käme doch wieder ein Tier.
Irgendwo war es heller -.
Aber was wissen wir.

II

Еще пока есть небо над тобой,
и воздух - рту, сиянье света - глазу,
но вот, представь, все станет камнем сразу,
вкруг сердца грозно выросшим стеной.

Еще в тебе есть "завтра" и "потом",
"когда-нибудь" и "через год", и "вскоре".
Но станет это кровью в каждой поре,
непрорывающимся гнойником.

А то, что было - то сойдет с ума.
От смеха содрогнется вся тюрьма,
и этот хохот - признак, что ты спятил.

На место бога станет надзиратель,
и грязным глазом он заткнет глазок.
А ты - ты жив еще. И он - твой бог.

Р.М. Рильке

II

Denk dir, das was jetzt Himmel ist und Wind,
Luft deinem Mund und deinem Augen Helle,
das würde Stein bis um die kleine Stelle
an der dein Herz und deine Hände sind.

Und was jetzt in dir morgen heißt und: dann
und: späterhin und nächstes Jahr und weiter -
das würde wund in dir und voller Eiter
und schwäre nur und bräche nicht mehr an.

Und das was war, das wäre irre und
raste in dir herum, den lieben Mund
der niemals lachte, schäumend von Gelächter.

Und das was Gott war, wäre nur dein Wächter
und stopfte boshaft in das letzte Loch
ein schmutziges Auge. Und du lebstest doch.

ПАНТЕРА

Жардэн де плант, Париж

В глазах рябит. Куда ни повернуть их -
одни лишь прутья, тысяч прутьев ряд.
И для нее весь мир на этих прутьях
сошелся клином, притупляя взгляд.

Беззвучным шагом, поступью упругой
описывая тесный круг, она,
как в танце силы, мечется по кругу,
где воля мощная погребена.

Лишь временами занавес зрачковый
бесшумно поднимается. Тогда
по жилам бьет струя стихии новой,
чтоб в сердце смолкнуть навсегда.

Р.М. Рильке

DER PANTHER

Im Jardin des Plantes, Paris

Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
so müd geworden, daß er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille -
und hört im Herzen auf zu sein.

СВЯТОЙ СЕБАСТЬЯН

Будто лежа он стоит, высок,
мощной волею уравновешен,
словно мать кормящая, нездешен,
и в себе замкнувшись, как венок.

Стрелы же охотятся за ним
и концами мелкой дрожью бьются,
словно вспять из этих бедер рвутся, -
он стоит - улыбчив, нераним.

Только раз в его глазах тоска
болью обозначилась слегка,
чтоб он смог презрительней и резче
выдворить из каждого зрачка
осквернителя прекрасной вещи.

Р.М. Рильке

SANKT SEBASTIAN

Wie ein Liegender so steht er; ganz
hingehalten von dem großen Willen.
Weitentrückt wie Mütter, wenn sie stillen,
und in sich gebunden wie ein Kranz.

Und die Pfeile kommen: jetzt und jetzt
und als sprängen sie aus seinen Lenden,
eisern bebend mit den freien Enden.
Doch er lächelt dunkel, unverletzt.

Einmal nur wird seine Trauer groß,
und die Augen liegen schmerzlich bloß,
bis sie etwas leugnen, wie Geringes,
und als ließen sie verächtlich los
die Vernichter eines schönen Dinges.

АНГЕЛ

Наклоном головы он отогнал
все наставленья, все "нельзя" и "надо".
Ведь через сердце движется громада
по кругу мчащихся начал.

В глубинах неба образы и лица.
Вот-вот услышит зов он: "Отыщи!"
Пусть легкость рук его не отягчится
твоей заботой. Иначе в ночи

они, с тобой борясь в остервененьи
и в бешенстве перевернув весь дом,
тебя, как будто бы ты их творенье,
возьмут, из формы выломав куском.

Р.М. Рильке

DER ENGEL

Mit einem Neigen seiner Stirne weist
er weit von sich was einschränkt und verpflichtet;
denn durch sein Herz geht riesig aufgerichtet
das ewig Kommende das kreist.

Die tiefen Himmel stehn ihm voll Gestalten,
und jede kann ihm rufen: komm, erkenn -.
Gieb seinen leichten Händen nichts zu halten
aus deinem Lastenden. Sie kämen denn

bei Nacht zu dir, dich ringender zu prüfen,
und gingen wie Erzürrnte durch das Haus
und griffen dich als ob sie dich erschüfen
und brächen dich aus deiner Form heraus.

СЛЕПНУЩАЯ

Она, как все, сидела за столом.
Но чашку - показалось мне сначала -
она чуть-чуть не так, как все, держала.
Потом вдруг улыбнулась. Только ртом.

Когда же встали все из-за стола
и разбрелись кто с кем и как попало
по комнатам (толпа, смеясь, болтала),
я видел, как она за всеми шла,

но напряженно - будто бы сейчас
и перед всеми предстояло петь ей,
и, как от глади водной на рассвете,
наружный свет отсвечивал от глаз.

Шла медленно, как бы боясь преград,
и все ж в сомнении: не перейти ль их?
Как будто бы, преодолев их ряд,
она вздохнет и полетит на крыльях.

Р.М. Рильке

DIE ERBLINDENDE

Sie saß so wie die anderen beim Tee.
Mir war zuerst, als ob sie ihre Tasse
ein wenig anders als die andern fasse.
Sie lächelte einmal. Es tat fast weh.

Und als man schließlich sich erhob und sprach
und langsam und wie es der Zufall brachte
durch viele Zimmer ging (man sprach und lachte),
da sah ich sie. Sie ging den andern nach,

verhalten, so wie eine, welche gleich
wird singen müssen und vor vielen Leuten;
auf ihren hellen Augen die sich freuten
war Licht von außen wie auf einem Teich.

Sie folgte langsam und sie brauchte lang
als wäre etwas noch nicht überstiegen;
und doch: als ob, nach einem Übergang,
sie nicht mehr gehen würde, sondern fliegen.

В ЧУЖОМ ПАРКЕ

Боргебю-горд

Здесь два пути, ведущих в никуда.
Но вот в мечтах блуждая, как по лесу,
идешь одним из них. И пред тобой
цветник знакомый с каменной плитой
и надписью знакомой: "Баронесса
Брите Софи" - и снова, как всегда,
ощупываешь стершиеся даты
рождения и смерти на плите.
Как непомерна этих встреч оплата!

Что медлишь ты под вязом в темноте,
чего ты ждешь, как будто в первый раз
ступаешь на сырую эту землю?

Чем именно тебя привлек сейчас
цветник соседний - солнечный, - не тем ли,
что там не холод плит, а пламя роз?

Сюда наведываясь то и дело,
ты почему стоишь оторопело
и перед флоксом словно в землю врос?

Р.М. Рильке

IN EINEM FREMDEN PARK

Borgeby-Gård

Zwei Wege sinds. Sie führen keinen hin.
Doch manchmal, in Gedanken, läßt der eine
dich weitergehn. Es ist, als gingst du fehl;
aber auf einmal bist du im Rondel
alleingelassen wieder mit dem Steine
und wieder auf ihm lesend: Freiherrin
Brite Sophie - und wieder mit dem Finger
abführend die zerfallne Jahreszahl -.
Warum wird dieses Finden nicht geringer?

Was zögerst du ganz wie zum ersten Mal
erwartungsvoll auf diesem Ulmenplatz,
der feucht und dunkel ist und niebetreten?

Und was verlockt dich für ein Gegensatz,
etwas zu suchen in den sonnigen Beeten,
als wärs der Name eines Rosenstocks?

Was stehst du oft? Was hören deine Ohren?
Und warum siehst du schließlich, wie verloren,
die Falter flimmern um den hohen Phlox.

РИМСКИЕ ФОНТАНЫ

Боргезе

Две чаши, обогнав одна другую,
над мраморным бассейном вознеслись,
и с верхней разговорчивые струи
к воде безмолвной протянулись вниз, -

к той, что внимает им, в ответ даруя
в горсти для них припрятанный сюрприз:
кусочек неба, сквозь листву густую
и тьму глядящий, как из-за кулис.

Сама спокойно разместившись в чаше,
она легла с краями наравне,
спускаясь каплями, как бы во сне,

по мшистой бахrome седобородой
к зеркальной глади, что на самом дне
улыбкой оживляют переходы.

Р.М. Рильке

RÖMISCHE FONTÄNE

Borghese

Zwei Becken, eins das andre übersteigend
aus einem alten runden Marmorrand,
und aus dem oberen Wasser leis sich neigend
zum Wasser, welches unten wartend stand,

dem leise redenden entgegenschweigend
und heimlich, gleichsam in der hohlen Hand,
ihm Himmel hinter Grün und Dunkel zeigend
wie einen unbekanntem Gegenstand;

sich selber ruhig in der schönen Schale
verbreitend ohne Heimweh, Kreis aus Kreis,
nur manchmal träumerisch und tropfenweis

sich niederlassend an den Moosbehängen
zum letzten Spiegel, der sein Becken leis
von unten lächeln macht mit Übergängen.

КАРУСЕЛЬ

Люксембургский сад

Под крышей за калиткой взаперти
кружатся то и дело табуны
лошадок пестрых, родом из страны,
что долго медлит прежде, чем зайти.
Хоть многие в повозку впряжены, -
отвага их под стать горящим взглядам.
Свирепый красный лев ступает рядом
и слон невероятной белизны.

А вот олень - взаправдашний почти, -
но с голубою девочкой, ремнями
к седлу пристегнутою, лет пяти.

Верхом на льва взобрался мальчик белый,
его глаза волнения полны,
а лев оскалил зубы до предела.

И слон невероятной белизны.

И скачут бесконечными рядами...
Но девочкам взрослеющим чего-то
здесь не хватает, и в разгар полета
они в мечтах парят за облаками.

И слон невероятной белизны.

Но все к концу несется неуклонно,
хоть крутится бесцельно допоздна.
Вот красный цвет пронесся, вот зеленый,
и к профилю объемность сведена...
А иногда улыбкой восхищенной,
блаженной и слепящей, и влюбленной
игра слепая вдруг озарена.

Р.М. Рильке

DAS KARUSSELL
Jardin du Luxembourg

Mit einem Dach und seinem Schatten dreht
sich eine kleine Weile der Bestand
von bunten Pferden, alle aus dem Land,
das lange zögert, eh es untergeht.
Zwar manche sind an Wagen angespannt,
doch alle haben Mut in ihren Mienen;
ein böser roter Löwe geht mit ihnen
und dann und wann ein weißer Elefant.

Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald,
nur daß er einen Sattel trägt und drüber
ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt.

Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge
und hält sich mit der kleinen heißen Hand,
dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge.

Und dann und wann ein weißer Elefant.

Und auf den Pferden kommen sie vorüber,
auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge
fast schon entwachsen; mitten in dem Schwunge
schauen sie auf, irgendwohin, herüber -

Und dann und wann ein weißer Elefant.

Und das geht hin und eilt sich, daß es endet,
und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel.
Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet,
ein kleines kaum begonnenes Profil -
Und manchesmal ein Lächeln, hergewendet,
ein seliges, das blendet und verschwendet
an dieses atemlose blinde Spiel...

ИСПАНСКАЯ ТАНЦОВЩИЦА

Как спичка, чиркнув, через миг-другой
выбрасывает языками пламя,
так, вспыхнув, начинает танец свой
она, в кольцо зажатая толпой,
и кружится все ярче и упрямей.

И вот - вся пламя с головы до пят.

Воспламенившись, волосы горят,
и жертвою в рискованной игре
она сжигает платье на костре,
в котором изгибаются, как змеи,
трепещущие руки, пламенея.

И вдруг она, зажав огонь в горстях,
его о землю разбивает в прах
высокомерно, плавно, величаво.
А пламя в бешенстве перед расправой
ползет и не сдается, и грозит...

Но точно, и отточенно, и четко,
чеканя каждый жест, она разит
огонь своей отчетливой чечеткой.

Р.М. Рильке

SPANISCHE TÄNZERIN

Wie in der Hand ein Schwefelzündholz, weiß,
eh es zur Flamme kommt, nach allen Seiten
zuckende Zungen streckt -: beginnt im Kreis
naher Beschauer hastig, hell und heiß
ihr runder Tanz sich zuckend auszubreiten.

Und plötzlich ist er Flamme, ganz und gar.

Mit einem Blick entzündet sie ihr Haar
und dreht auf einmal mit gewagter Kunst
ihr ganzes Kleid in diese Feuersbrunst,
aus welcher sich, wie Schlangen die erschrecken,
die nackten Arme wach und klappernd strecken.

Und dann: als würde ihr das Feuer knapp,
nimmt sie es ganz zusamm und wirft es ab
sehr herrisch, mit hochmütiger Gebärde
und schaut: da liegt es rasend auf der Erde
und flammt noch immer und ergiebt sich nicht -.

Doch sieghaft, sicher und mit einem süßen
grüßenden Lächeln hebt sie ihr Gesicht
und stampft es aus mit kleinen festen Füßen.

ПЛОЩАДЬ

Фюрн

Раздвинутая пестрым произволом
насыщенных событиями времен -
то ярмарочным празднеством веселым,
то бунтами, колеблющими трон,
то герцога геройским ореолом,
то казнь, ублажающей закон

(все это смотрится, как фон), -

она пытается втянуть границы,
и это не под силу ей одной,
а все кругом с торговым рядом слиться
спешит или укрыться за стеной.

Мечтают сверху обозреть округу
дома, подтягиваясь к чердакам,
застенчиво скрывая друг от друга
причастность к башням, взмывшим к небесам.

Р.М. Рильке

DER PLATZ

Furnes

Willkürlich von Gewesnem ausgeweitet:
von Wut und Aufruhr, von dem Kunterbunt
das die Verurteilten zu Tod begleitet,
von Buden, von der Jahrmarktsrufer Mund,
und von dem Herzog der vorüberreitet
und von dem Hochmut von Burgund,

(auf allen Seiten Hintergrund):

ladet der Platz zum Einzug seiner Weite
die fernen Fenster unaufhörlich ein,
während sich das Gefolge und Geleite
der Leere langsam an den Handelsreihn

verteilt und ordnet. In die Giebel steigend,
wollen die kleinen Häuser alles sehn,
die Türme vor einander scheu verschweigend,
die immer maßlos hinter ihnen stehn.

QUAI DU ROSAIRE

Брюгге

У здешних улиц осторожный шаг
(вот так, постель покинувши впервые,
порой бредут, задумавшись больные...),
их манит площадей родной очаг

и нагоняет - иль уже нагнал? -
мост, перепрыгнувший через канал,
свободный от игры вечерних теней,
в котором мир повисших отражений
действительней самих вещей в сто крат.

И город кончился... Но вот твой взгляд,
удостоверясь в подлинности чар,
увидел в опрокинутости этой
его черты живые и приметы:
там сад повис, цветами разодетый,
там в окнах ресторанов до рассвета
кружится вихрь залитых светом пар.

А наверху - там тишина бездонна,
там пьет она по каплям сладкий сок
из колокольной грозди перезвона,
украшившей небесный потолок.

Р.М. Рильке

QUAI DU ROSAIRE

Brücke

Die Gassen haben einen sachten Gang
(wie manchmal Menschen gehen im Genesen
nachdenkend: was ist früher hier gewesen?)
und die an Plätze kommen, warten lang

auf eine andre, die mit einem Schritt
über das abendklare Wasser tritt,
darin, je mehr sich rings die Dinge mildern,
die eingehängte Welt von Spiegelbildern
so wirklich wird wie diese Dinge nie.

Verging nicht diese Stadt? Nun siehst du, wie
(nach einem unbegreiflichen Gesetz)
sie wach und deutlich wird im Umgestellten,
als wäre dort das Leben nicht so selten;
dort hängen jetzt die Gärten groß und gelten,
dort dreht sich plötzlich hinter schnell erhellten
Fenstern der Tanz in den Estaminets.

Und oben blieb? - - Die Stille nur, ich glaube,
und kostet langsam und von nichts gedrängt
Beere um Beere aus der süßen Traube
des Glockenspiels, das in den Himmeln hängt.

АРХАИЧЕСКИЙ ТОРС АПОЛЛОНА

Нам головы не довелось узнать,
в которой яблоки глазные зрели,
но торс, как канделябр, горит доселе
накалом взгляда, убранного вспять,

вовнутрь. Иначе выпуклость груди
не ослепляла нас своею мощью б,
от бедер к центру не влеклась наощупь
улыбка, чтоб к зачатию прийти.

Иначе им бы можно пренебречь -
обрубком под крутым обвалом плеч: -
он не мерцал бы шкурою звериной,

и не сиял сквозь все свои изломы
звездю, высветив твои глубины
до дна. Ты жить обязан по-иному.

Р.М. Рильке

ARCHAISCHER TORSO APOLLOS

Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt,
darin die Augenäpfel reiften. Aber
sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber,
in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt,

sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug
der Brust dich blenden, und im leisen Drehen
der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen
zu jener Mitte, die die Zeugung trug.

Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz
unter der Schultern durchsichtigem Sturz
und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle;

und bräche nicht aus allen seinen Rändern
aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle,
die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.

КРИТСКАЯ АРТЕМИДА

Горный ветер: не твое ль создание
легкая вещественность чела?
Гладкий встречный ветер легких ланей, -
ты ее лепил... Легла

ткань на неосознанные груди
предвкушеньем бурных перемен,
а она, все знавшая в подспудье,
платье выше подобрала колен,

пояс затянувши над чреслами,
вдаль рванулась с нимфами и псами,
на бегу наладив лук,

чтобы, гнев смирив, с горы спуститься
к людям в дол, на помощь роженице,
обезумевшей от мук.

Р.М. Зильке

KRETISCHE ARTEMIS

Wind der Vorgebirge: war nicht ihre
Stirne wie ein lichter Gegenstand?
Glatter Gegenwind der leichten Tiere,
formtest du sie: ihr Gewand

bildend an die unbewußten Brüste
wie ein wechselvolles Vorgefühl?
Während sie, als ob sie alles wüßte,
auf das Fernste zu, geschürzt und kühl,

stürmte mit den Nymphen und den Hunden,
ihren Bogen probend, eingebunden
in den harten hohen Gurt;

manchmal nur aus fremden Siedelungen
angerufen und erzürnt bezwungen
von dem Schreien um Geburt.

ИЗ ЖИТИЯ СВЯТОГО

Он ведал страхи. Самый вход в них был
подобен медленному умираенью.
Но сердце поддавалось воспитанью,
как сына он его растил.

И бед неотразимых миллион
обрушивался на него лавиной.
Послушно душу выросшую он
отдал на сохраненье Господину

и Жениху. Теперь он жил вне зла,
один, как был, в той местности суровой,
где одинокость все переросла.
Жил далеко и презирая слово.

За то и счастье он познал к концу
и нежность стал испытывать такую,
как будто положил всю тварь земную
в ладони и поднес ее к лицу.

Р.М. Рильке

AUS DEM LEBEN EINES HEILIGEN

Er kannte Ängste, deren Eingang schon
wie Sterben war und nicht zu überstehen.
Sein Herz erlernte, langsam durchzugehen;
er zog es groß wie einen Sohn.

Und namenlose Nöte kannte er,
finster und ohne Morgen wie Verschläge;
und seine Seele gab er folgsam her,
da sie erwachsen war, auf daß sie läge

bei ihrem Bräutigam und Herrn; und blieb
allein zurück an einem solchen Orte,
wo das Alleinsein alles übertrieb,
und wohnte weit und wollte niemals Worte.

Aber dafür, nach Zeit und Zeit, erfuhr
er auch das Glück, sich in die eignen Hände,
damit er eine Zärtlichkeit empfände,
zu legen wie die ganze Kreatur.

ОБМЫВАНИЕ ТРУПА

Они к нему привыкли. Но потом,
когда фонарь зажегся в ночи тесной
они увидели, что неизвестный
им незнаком. И мыли труп вдвоем.

Не зная ничего о нем на деле,
они ему придумали судьбу.
И обе, вдруг закашлявшись, присели,
оставив губку у него на лбу,

пропитанную уксусом. И зорче
приглядывались к трупу. С жесткой щетки
стекали капли. Руки в жуткой корче
как будто бы доказывали молча,
что жажды больше нет в иссохшей глотке.

И он им доказал. Они в смущеньи
и торопливо подступили к ложу
покойника. А их кривые тени
кривлялись на обоях, как в мережу

вплетаясь в их узоры и изъяны.
Они же терли тело исступленно.
Ночь в раме незавешанной оконной
была нагла. Не издавал законы
лежавший здесь какой-то безымянный.

Р.М. Рильке

LEICHEN-WÄSCHE

Sie hatten sich an ihn gewöhnt. Doch als
die Küchenlampe kam und unruhig brannte
im dunkeln Luftzug, war der Unbekannte
ganz unbekannt. Sie wuschen seinen Hals,

und da sie nichts von seinem Schicksal wußten,
so logen sie ein anderes zusamm,
fortwährend waschend. Eine mußte husten
und ließ solang den schweren Essigschwamm

auf dem Gesicht. Da gab es eine Pause
auch für die zweite. Aus der harten Bürste
klopfen die Tropfen; während seine grause
gekrampfte Hand dem ganzen Hause
beweisen wollte, daß ihn nicht mehr dürste.

Und er bewies. Sie nahmen wie betreten
eiliger jetzt mit einem kurzen Huster
die Arbeit auf, so daß an den Tapeten
ihr krummer Schatten in dem stummen Muster

sich wand und wälzte wie in einem Netze,
bis daß die Waschenden zu Ende kamen.
Die Nacht im vorhanglosen Fensterrahmen
war rücksichtslos. Und einer ohne Namen
lag bar und reinlich da und gab Gesetze.

Э р в и н Ш т р и т т м а т т е р

Ты спросил меня, когда цветет черника,
Ты, пригожий парень, камня холодней.
Ты спросил меня, какой любовь бывает,
Ты, пригожий парень, камня холодней.
Любовь - как ветер, душистый ветер.
Никогда не знаешь, откуда он подул.
Любовь, как влага дождевая, -
Ничья она и всем дана.

.....
Ты спросил меня, когда порвется нитка,
Ты, старик суровый, камня холодней.
Ты спросил меня, какую смерть бывает,
Ты, старик суровый, камня холодней.
Смерть - она как туча, пригнанная ветром,
Что темнеет утром в светлой синеве.
Вечером она - как дождь,
А утром - тучей в синеве.

E r w i n S t r i t t m a t t e r

Эту песню перевел Константин Богатырев по просьбе Льва Копелева для русского издания драмы Э. Штриттматтера "Невеста Голландца" (Die Holländerbraut). Первой частью песни начинается первая картина пьесы:

"Hast mich gefragt, wann die Mossbeere blüht,
Schöner, steinkalter Mann.
Hast mich gefragt, wie die Liebe ist,
Schöner, steinkalter Mann.
Sie ist wie der Duft auf dem Winde:
Man weiß nicht, von wannen er kommt;
Sie ist wie das Raunen des Regens,
Das niemand und allen gehört."

второй частью песни кончается картина:

"Hast mich gefragt, wann der Faden zerreißt,
Alter, steinkalter Mann.
Hast mich gefragt, wie das Sterben ist,
Alter, steinkalter Mann.
Es ist wie die Wolke im Winde,
Gebauscht in des Morgens Blau,
Und ist am Abend ein Regen
und morgens die Wolke im Blau."

Б е р т о л ь т Б р е х т

Теперь она гримируется. В белой камерке
Сидит, сутулясь, на скамейке бедняцкой.

...

Но вот она готова
И спрашивает озабоченно: принесен ли уже барабан,
На котором выбивают громыхание далеких пушек,
И повешена ли уже
Большая рыбацкая сеть?
Тогда она встает. Маленькая женщина --
Великая воительница,
Чтобы, надев деревянные башмаки,
Идти показывать, как андалузская рыбацка
Воет против генералов.

И хотя она показала
Все необходимое, чтобы понять рыбацку,
Она все же не превратилась без остатка
В эту рыбацку, а играла
Так: словно размышляла при этом,
Словно спрашивала себя постоянно:
"Как же это все было?"
И хотя не всегда угадывались ее мысли,
Она все же показала,
Что мысли эти ее заботят.
И таким образом побуждала всех
Размышлять.

B e r t o l t B r e c h t

Jetzt schminkt sie sich. In der weißen Zelle
Sitzt sie gebückt auf dem ärmlichen Hocker.

...

Wenn sie fertig ist
Fragt sie eifrig, ob die Trommel schon gekommen ist
Auf der der Geschützdonner gemacht wird
Und ob das große Netz
Schon hängt. Dann steht sie auf, kleine Gestalt
Große Kämpferin
In die Bastschuhe zu treten und darzustellen
Den Kampf der andalusischen Fischersfrau
Gegen die Generäle.

Wiewohl sie alles zeigte
Was nötig war, eine Fischersfrau
Zu verstehen, verwandelte sie sich doch nicht restlos
In diese Fischersfrau, sondern spielte
So, als sei sie außerdem noch beschäftigt mit Nachdenken
Gleichsam, als fragte sie stets: wie war es doch?
Wenngleich man nicht immer
Ihre eigenen Gedanken über die Fischersfrau
Erraten konnte, so zeigte sie doch
Daß sie solche dachte, und lud so ein
Solche zu denken.

ТОПОЛЬ НА КАРЛСПЛАЦ

Тополь высится на Карлсплац
Средь руин берлинских на виду.
Каждый рад, пересекая Карлсплац,
Видеть дерево в цвету.

А зимой сорок шестого
Люди мерзли без угля и дров.
И подряд срубали все деревья,
Чтобы обогреть свой кров.

Только тополь там стоит на Карлсплац,
Шелестя зеленою листвою,
Я благодарю вас, люди с Карлсплац,
Что он с нами здесь, живой.

Б. Брехт

DIE PAPPEL VOM KARLSPLATZ

Eine Pappel steht am Karlsplatz
Mitten in der Trümmerstadt Berlin
Und wenn Leute gehn übern Karlsplatz
Sehen sie ihr freundlich Grün.

In dem Winter sechsundvierzig
Frör'n die Menschen, und das Holz war rar
Und es fielen da viele Bäume
Und es wurd ihr letztes Jahr.

Doch die Pappel dort am Karlsplatz
Zeigt uns heute noch ihr grünes Blatt:
Seid bedankt, Anwohner von Karlsplatz
Daß man sie noch immer hat!

B. Brecht

А д е л ь б е р т ф о н Ш а м и с с о

MEMENTO

Кто он, не заслуживший славословья.
Старик беглец с тяжелой клюкой?
Он морщит бледный лоб и хмурит брови...
На багрянице грязи толстый слой.
Но лоб, но лоб его чем заклеямен?
И он - король над этой страной?
Вчера он был им, но сегодня он
В последний - в третий раз ушел в изгнание.
Да, мудростью он не украсил трон!
И он отправился туманной ранью
В страну чужую, где чужое горе
Встречают горьким хлебом сострадания.
Тропою робкою достигнув моря,
Где корабли стояли на причале.
Он оглянулся с родиной во взоре.
И слышит вдруг сквозь пройденные дали
Счастливых голосов нестройный хор.
Что в мирном саде эхом отзвучали:
"Он разорвал священный договор.
Он самовластием поправ свободу.
Он силою навлек на нас позор!"
И мало в праздничной толпе народа
Приверженцев, что плачут в час заката
Звезды, навек сошедшей с небосвода.
Он слышит тех, что были им когда-то
С позором ввергнуты в пучину бед
За то, что честь держали выше злата.
Над этим всем задумался поэт
От прихотей властителей вдали.
Он плачет, если рядом лиры нет...
Учитесь у него, цари земли!

047002

A d e l b e r t v o n C h a m i s s o

MEMENTO

Wer nennt mir diesen Flüchtling, diesen Alten,
Der zitternd führt den Wanderstab zur Hand,
Und bleich die Stirne zieht in düstre Falten?
Besudelt scheint mir Purpur sein Gewand,
Und auf der Stirne, welch ein seltsam Mal?
War der ein König über dieses Land?
Er war es gestern, und zum dritten Mal
Entfleucht er, und zum letzten, seinen Reichen,
Worüber nicht mit Weisheit er befahl.
Und nun? - Er hofft die Fremde zu erreichen,
Das fremde Land, wo ihm des Fremden Gnade
Das bittere Brod des Mitleids möge reichen.
Gelangend an das Meer auf scheuem Pfade,
Wo Schiffe, fremde Schiffe, seiner warten,
Blickt er zurück zur Heimat vom Gestade;
Und lauscht - dem trunknen Freudenruf, dem harten,
Der himmelangetragen widerhallt
Inmitten neuerblühtem Friedensgarten:
"Zerriß er den Vertrag doch selbst, da galt
Es nur das Fest der Freiheit zu erneuen;
Er stand allein, und drohte mit Gewalt!"
Die Stimmen nur von wenigen Getreuen
Erheben sich, die, vor den freud'gen Scharen,
Sich seinen Stern nicht zu betrauern scheuen,
Die Stimmen derer, muß er nun erfahren,
Die er verstieß mit Unbill und mit Schmach,
Weil Toren nicht, weil Knechte nicht sie waren. --
Und solchem Bilde sinnt der Dichter nach,
Verstummt, von Gunst und Mißgunst gleich entfernt;
Er sinnt und weint, sein Saitenspiel zerbrach.
Ihr Mächtigen der Erde! schaut und lernt!

И о г а н н В о л ь ф г а н г Ф о н Г ё т е

"ПЕСНЬ О НИБЕЛУНГАХ"

Новый переводчик придерживается подлинника как можно ближе, из строки в строку.

Это старинные картины, но в новом освещении.

Точно сняли с картины затемняющий лак, и краски вновь заговорили с нами в своей свежести.

Мы желаем этой поэме много читателей. Переводчик, поскольку он предусматривает второе издание, поступит хорошо, если переделает некоторые места, так чтобы они, не нанося ущерба целому, стали пояснее.

Мы воздерживаемся от дальнейших суждений, ссылаясь на сказанное выше. Эта поэма не из таких, чтобы о ней составилось суждение раз и навсегда, но притязает на мнение любого, а посему и на силу воображения, способную к воспроизведению, на чувство возвышенного, сверхвеличественного, равно как и нежного, изящного, чувство широкого охвата в целом и обстоятельных деталей. Из каких-то требований явствует, что заниматься ею будут еще века.

Любое ритмическое чтение действует сперва на чувство, затем на силу воображения и в последнюю очередь на рассудок и на нравственно-разумное удовольствие. Ритм подкупает.

Мы слышали, как восторгались совершенно никчемными стихотворениями из-за их достохвальной ритмики.

Посему, согласно часто высказывавшемуся нами мнению, мы утверждаем, что любое значительное поэтическое произведение, а в особенности эпическое, должно-таки быть когда-нибудь переведено прозой.

Такой опыт был бы в высшей степени благотворен и для "Нибелунгов", если бы многочисленные стихи-вставки и стихи-затычки, которые теперь действуют приятно, как перезвон колоколов, отпали и можно было бы непосредственно во всю силу разговаривать со слу-

J o h a n n W o l f g a n g v o n G o e t h e

DAS NIBELUNGENLIED

Der neue Bearbeiter ist so nah als möglich Zeile vor Zeile beim Original geblieben.

Es sind die alten Bilder, aber neu erhellt.

Eben als wenn man einen verdunkelnden Firnis von einem Gemälde genommen hätte und die Farben in ihrer Frische uns wieder ansprächen.

Wir wünschen diesem Werke viele Leser; der Bearbeiter, indem er einer zweiten Auflage entgegenseht, wird wohl tun, noch manche Stellen zu überarbeiten, daß sie, ohne dem Ganzen zu schaden, noch etwas mehr ins klare kommen.

Wir enthalten uns alles weiteren, indem wir uns auf das oben Gesagte beziehen. Dies Werk ist nicht da, ein für allemal beurteilt zu werden, sondern an das Urteil eines jeden Anspruch zu machen und deshalb an Einbildungskraft, die der Reproduktion fähig ist, aus Gefühl fürs Erhabene, Übergroße, so wie für das Zarte, Feine, für ein weit umfassendes Ganze und für ein ausgeführtes Einzelne. Aus welchen Forderungen man wohl sieht, daß sich noch Jahrhunderte damit zu beschäftigen haben.

Jeder rhythmische Vortrag wirkt zuerst aufs Gefühl, sodann auf die Einbildungskraft, zuletzt auf den Verstand und auf ein sittlich-vernünftiges Behagen. Der Rhythmus ist bestechend.

Wir haben ganz nulle Gedichte wegen lobenswürdiger Rhythmik preisen hören.

Nach unsrer oft geäußerten Meinung deshalb behaupten wir, daß jedes bedeutende Dichtwerk, besonders auch das epische, auch einmal in Prosa übersetzt werden müsse.

Auch den N i b e l u n g e n würd' ein solcher Versuch höchst heilsam sein, wenn die vielen Flick- und Füllverse, die jetzt wie ein Glockengeläute ganz wohltätig sind, wegfielen und

шателем, обращаясь к его воображению, так чтобы содержание во всю свою мощь и силу предстало душе и явилось бы уму с новой стороны.

Но поступать так, по нашему мнению, надо было бы именно не со всей поэмой; для этого мы предложили бы приключение двадцать восьмое и ближайшие последующие.

Здесь талантливые сотрудники многих наших ежедневных листков должны бы отважиться на такой радостный и полезный опыт и могли бы здесь, как водится во многом другом, соревноваться, явить свое усердие.

И.Б. фон Гёте

man unmittelbar kräftig zu dem wachenden Zuhörer und dessen Einbildungskraft spräche, so daß der Gehalt in ganzer Kraft und Macht vor die Seele träte und dem Geiste von einer neuen Seite zur Erscheinung käme.

Es müßte, nach unsrer Meinung, gerade nicht das Ganze sein; wir würden das achtundzwanzigste Abenteuer und die nächstfolgenden vorschlagen.

Hier hätten talentvolle Mitarbeiter an unsern vielen Tagesblättern einen heitern und nützlichen Versuch zu wagen und könnten auch hierin, wie in vielen andern Dingen geschieht, ihren Eifer um die Wette beweisen.

J.W. von Goethe

И н г е б о р г Б а х м а н

ОТСРОЧЕННОЕ ВРЕМЯ

Наступят дни пожесточе.
До времени отмененное время
заалело на горизонте.
Скоро тебе придется
завязать шнурки на ботинках
и собак отогнать к берегу моря,
потому что рыбы потроха
застыли на ветру.
Бледным огнем загорелись лупины.
Ты рассек туман своим взглядом:
до времени отмененное время
заалело на горизонте.

А в пучине песка на той стороне -
твоя любимая.
Ей волосы запорошил песок,
перебивает ее,
велит замолчать.
Она же приемлет смерть
и готова проститься с жизнью
после каждого объятия.

Не оборачивайся.
Зашнуруй ботинки.
Отгони собак.
Выбрось в море рыб.
Загаси лупины.
Наступят дни пожесточе.

I n g e b o r g B a c h m a n n

DIE GESTUNDETE ZEIT

Es kommen härtere Tage.
Die auf Widerruf gestundete Zeit
wird sichtbar am Horizont.
Bald mußt du den Schuh schnüren
und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe.
Denn die Eingeweide der Fische
sind kalt geworden im Wind.
Ärmlich brennt das Licht der Lupinen.
Dein Blick spurt im Nebel:
die auf Widerruf gestundete Zeit,
wird sichtbar am Horizont.

Drüben versinkt dir die Geliebte im Sand,
er steigt um ihr wehendes Haar,
er fällt ihr ins Wort,
er befiehlt ihr zu schweigen,
er findet sie sterblich
und willig dem Abschied
nach jeder Umarmung.

Sieh dich nicht um.
Schnür deinen Schuh.
Jag die Hunde zurück.
Wirf die Fische ins Meer.
Lösch die Lupinen!

Es kommen härtere Tage.

ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ

Войны не объявляются нынче:
их продолжают вести. Немыслимое
вошло в обиход. Но герой
отсиживается в тылу. Трусливый
уходит на фронт воевать.
Повседневной формой стало терпение,
наградю - выцветшая звезда
надежды, болтающаяся над сердцем.

Ее выдают,
когда ничего не случается,
когда умолкает барабанный бой,
когда и врага-то не видно
и только тучи перевооружения
застилают небо.

Ее выдают:
за дезертирство,
за храбрость перед друзьями,
за выдачу мерзких тайн,
за презрение
к любому приказу.

И. Бахман

ALLE TAGE

Der Krieg wird nicht mehr erklärt,
sondern fortgesetzt. Das Unerhörte
ist alltäglich geworden. Der Held
bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache
ist in die Feuerzonen gerückt.
Die Uniform des Tages ist die Geduld,
die Auszeichnung der armselige Stern
der Hoffnung über dem Herzen.

Er wird verlieren,
wenn nichts mehr geschieht,
wenn das Trommelfeuer verstummt,
wenn der Feind unsichtbar geworden ist
und der Schatten ewiger Rüstung
den Himmel bedeckt.

Er wird verliehen
für die Flucht von den Fahnen,
für die Tapferkeit vor dem Freund,
für den Verrat unwürdiger Geheimnisse
und die Nichtachtung
jeglichen Befehls.

П а у л ь Ц е л а и

ОТКОС

Ты живешь рядом со мною, подобно мне:
камнем
в ввалившейся щеке ночи.

О этот откос наш, любимая,
по которому катимся вниз мы,
мы, камни,
от ложбинки к ложбинке,
с каждым разом становясь все круглей.
Неотличимей. Отчужденней.

О этот взгляд ненасытный,
блуждающий здесь, как и мы,
удивленно порою
видящий в нас одно.

P a u l C e l a n

DIE HALDE

Neben mir lebst du, gleich mir:
als ein Stein
in der eingesunkenen Wange der Nacht.

O diese Halde, Geliebte,
wo wir pausenlos rollen,
wir Steine,
von Rinnsal zu Rinnsal.
Runder von Mal zu Mal.
Ähnlicher. Fremder.

O dieses trunkene Aug,
das hier umherirrt wie wir
und uns zuweilen
staunend in eins schaut.

НАБРОСОК ЛАНДШАФТА

Круглые шахты могил внизу.
Вокруг, в ритме четырех четвертей,
впечатались годы в обвалы крутых ступеней.

Лавы, базальты, породы,
прогретые сердцем земли.
Туфы горячих источников -
там, где свет выросал перед нами,
опережая дыханье.

Маслянистый зеленый цвет...
Морскою пылью пропитанный
недосягаемый час,
а ближе к центру -
седловина, на которой
покоробленный и обугленный
звериный лоб
с лучистым белым пятном.

П. Целан

ENTWURF EINER LANDSCHAFT

Rundgräber, unten. Im
Viertakt der Jahresschritt auf
den Steilstufen rings.

Laven, Basalte, weltherz-
durchglühtes Gestein.
Quelltuff,
wo uns das Licht wuchs, vor
dem Atem.

Ölgrün, meerdurchstäubt die
unbetretbare Stunde. Gegen
die Mitte zu, grau,
ein Steinsattel, drauf,
gebault und verkohlt,
die Tierstirn mit
der strahligen Blesse.

P. Celan

ТЫ ВЫТРАВИЛ
языка твоего
лучистым вихрем
пеструю болтовню -
стоязыкую нажить -
лже-
стих, не-
стих.

Ветрами
пробуравлен путь
сквозь человеко-
подобный снег -
покаянный, как власяница,
к гостеприимным
ледниковым гостиним.

Глубоко,
и расселинах времени,
и сотовом льду,
притаился кристалл
твоего дыхания -
неоспоримое свидетельство
твое.

П. Целан

WEGGEBEIZT vom
Strahlenwind deiner Sprache
das bunte Gerede des An-
erlebten - das hundert-
züngige Mein-
gedicht, das Genicht.

Aus-
gewirbelt,
frei
der Weg durch den menschen-
gestaltigen Schnee,
den Büßerschnee, zu
den gastlichen
Gletscherstuben und -tischen.

Tief
in der Zeiteinschrunde,
beim
Wabeneis
wartet, ein Atemkristall,
dein unumstößliches
Zeugnis.

ПОРТ

Зажили раны, но где -
о, когда бы и ты, как я,
была изрыта вдоль и поперек
мечтами о горлышках
бутылок водочных
за пьяным застольем...

Верни мне мое счастье, морская пена,
подкати мне волну, о черная бездна,
я ее оседлаю,
пробуравь себе путь
сквозь горячее лоно,
мое обледеневшее скорбью перо!

И где только мы
не валялись с тобой -
помнишь
скамейку у матушки Клаузен,
она-то уж не забыла,
как я, бывало,
горланил в тебя
до самого горла - тарирара,
а над нами ольха голубая
шумела, как дома, листвою -
тарирара -
и ты, нездешняя, как звездная флейта, и
мы -
голые до наготы -
плыли и плыли,
и на огненно-красном лбу
запечатленный глубинный стих
вжигался расплавленным золотом
внутри -

здесь,

П. Целан

HAFEN

Wundgeheilt: wo-,
 wenn du wie ich wärst, kreuz-
 und quergeträumt von
 Schnapsflaschenhälsen am
 Hurentisch

- würfel
 mein Glück zurecht, Meerhaar,
 schaufel die Welle zuhauf, die mich trägt, Schwarzfluch,
 brich dir den Weg
 durch den heißesten Schoß,
 Eiskummerfeder -,

wo-
 hin
 kämst du nicht mit mir zu liegen, auch
 auf die Bänke
 bei Mutter Clausen, ja sie
 weiß, wie oft ich dir bis
 in die Kehle hinaufsang, heidideldu,
 wie die heidelbeerblaue
 Erle der Heimat mit all ihrem Laub,
 heidudeldi,
 du, wie die
 Astralflöte von
 jenseits des Weltgrats - auch da
 schwammen wir, Nacktnackte, schwammen,
 den Abgrundvers auf
 brandroter Stirn - unverglüht grub
 sich das tief-
 innen flutende Gold
 seine Wege nach oben -,

hier,

на парусах, опущенных ресницами,
проносились воспоминания,
и не спеша
их догоняли пожары,
и ты,
разделенная надвое,
стояла на обоих этих
черно-голубых плашкотах памяти,
и теперь, подгоняемые
тысячеричной рукой,
не отпускавшей тебя,
несутся
мимо притонов в звездных огнях
наши пьяные пьющие
не от мира здешнего рта -
я назвал только их, -

до тех пор, пока
с той покрытой плесенью времени башни
не сползет неслышно
сетчатка цифр - циферблат -
призрачный док плавучий,
пред которым
неземной белизны
буквы подъемных кранов
пишут адское имя,
манящее к себе ввысь,
чтобы после низринуть в смертную бездну
крановую тележку по имени
жизнь -
вот ее-то
и черпают за полночь
жадные до смысла строчки,
вот ее-то
и взял на буксир Нептунов грех,
и держит ее на тросе
цвета пшеничной водки
между двенадцати-

П. Целан

mit bewimperten Segeln,
fuhr auch Erinnerung vorbei, langsam
sprangen die Brände hinüber, ab-
getrennt, du,
abgetrennt auf
den beiden blau-
schwarzen Gedächtnis-
schuten,
doch angetrieben auch jetzt
vom Tausend-
arm, mit dem ich dich hielt,
kreuzen, an Sternwurf-Kaschemmen vorbei,
unsre immer noch trunknen, trinkenden,
nebenweltlichen Münder - ich nenne nur sie -,

bis drüben am zeitgrünen Uhrturm
die Netz-, die Ziffernhaut lautlos
sich ablöst - ein Wahndock,
schwimmend, davor
abweltweiß die
Buchstaben der
Großkräne einen
Unnamen schreiben, an dem
klettert sie hoch, zum Todessprung, die
Laufkatze Leben,
den
baggern die sinn-
gierigen Sätze nach Mitternacht aus,
nach ihm
wirft die neptunische Sünde ihr korn-
schnapsfarbenes Schleppseil,
zwischen
zwölf-

тоновыми любовными всхлипами бакенов, -
а тогда это был колодезный ворот:
с тобой не поет он больше
в хоре родных голосов -
и где-то пляшут сигнальные огни,
пльвущие из Одессы.

И платформа, с которой вместе мы тонем,
верная нам,
озорует, бросая
то вниз нас, то вверх, -
почему бы и нет? Зажили раны, но где, когда?

Мы то здесь, то нас нет, то мы здесь.

П. Целан

tonigen Liebeslautbojen
- Ziehbrunnenwinde damals, mit dir
singt es im nicht mehr
binnenländischen Chor -
kommen die Leuchtfeuerschiffe getanzt,
weither, aus Odessa,

die Tieflademarke,
die mit uns sinkt, unsrer Last treu,
eulenspiegelt das alles
hinunter, hinauf und - warum nicht? *wundgeheilt, wo-*,
wenn -
herbei und vorbei und herbei.

Ф р и д р и х Г е б б е л ь

Из трагедии "Ирод и Мариамна" III, 3

М а р и а м н а:

Убийство брата ты скрепил печатью
необходимости, которой ты
заставил подчиниться и меня.
Но вот, убив меня, ты никогда
скрепить не сможешь той же печатью
жены убийство. Смерть моя в веках
останется тягчайшим преступленьем
из всех свершенных на земле злодейств.

И р о д:

Я не нашелся бы тебе ответить,
когда б не знал заранее исхода
моей с Антонием последней встречи.
Я был уверен в том, что я вернусь:
мною было все поставлено на карту,
я сделал то, что сделал бы солдат
на поле битвы в безысходный миг:
он под ноги врагу швырнул бы знамя,
с ним вместе - честь и счастье свое, -
не для того, однако, чтобы сдаться,
но чтобы ринуться за ним и вырвать
из рук остервеневшего врага
венец победы. Здесь уже не храбрость -
отчаянье исход решает битвы.
Ты трусом назвала меня. Ну что же,
возможно, я бываю им, когда
я демона в самом себе боюсь, -
когда я цель преследую свою
окольными путями, притворяясь
другим - не тем, что я на самом деле.
Вот тут-то я боюсь, что слишком рано
я выпрямлюсь, - и, чтоб унять гордыню,
свою судьбу я связываю с тем,

что больше, что значительней меня,
что выстоит со мной или погибнет.
Ты знаешь, что меня там ожидало?
Не поединок и не суд тем более, -
тиран капризный - вот кто ждал меня.
Я б не отрекся от себя пред ним,
когда б не мысль... Но ты была во мне!
И я терпел. На пиршества его
я вынужден таскаться был за ним.
Он потешался надо мной зловеще.
Не отпускал меня, а я терпел
и оправданья молча ждал, как раб!

Ф. Геббель

knüpf ich an mich, was mehr ist, als ich selbst,
und mit mir stehen oder fallen muß.
Weißt du, was meiner harrte, als ich ging?
Kein Zweikampf und noch minder ein Gericht,
ein launischer Tyrann, vor dem ich mich
verleugnen sollte, aber sicher nicht
verleugnet hätte, wenn - Ich dachte dein,
nun knirscht ich nicht einmal - und was er auch
dem Mann und König in mir bieten mogte,
von Schmaus zu Schmaus mich schleppend und den Freispruch
mir doch, unheimlich schweigend, vorenthaltend,
geduldig, wie ein Sklave, nahm ichs hin!

Г е о р г Т р а к л ь

РАСПАД

По вечерам, под благовеста звоны
Смотрю на птиц таинственные стаи.
Они, в прозрачных делях исчезая,
Как богомольны тянутся колонной.

В мечтах о них брожу тенистым садом,
О светлой участи их вижу сны я.
Остановились стрелки часовые,
Я с птицами за облаками рядом.

Но ветром пробирает дрожь распада,
Дрозд жалобно поет на голой ветке,
Рыж виноград над ржавою оградой,
И сумерками скрыт колодец ветхий.

В нем детских мертвых теней мириады.
И зябнущие астры льнут к беседке...

G e o r g T r a k l

VERFALL

Am Abend, wenn die Glocken Frieden läuten,
Folg ich der Vögel wundervollen Flügen,
Die lang geschart, gleich frommen Pilgerzügen,
Entschwinden in den herbstlich klaren Weiten.

Hinwandelnd durch den dämmervollen Garten
Träum ich nach ihren helleren Geschicken
Und fühl der Stunden Weiser kaum mehr rücken.
So folg ich über Wolken ihren Fahrten.

Da macht ein Hauch mich von Verfall erzittern.
Die Amsel klagt in den entlaubten Zweigen.
Es schwankt der rote Wein an rostigen Gittern,

Indes wie blasser Kinder Todesreigen
Um dunkle Brunnenränder, die verwittern,
Im Wind sich fröstelnd blaue Aestern neigen.

К. Б о г а т ы р е в

ПАМЯТИ ПАСТЕРНАКА

Когда ушел из повседневья
Его единственный герой -
Мое пристанище в кочевье,
Ковчегом плившее со мной,

Когда земное притяженье
Навеки потеряло смысл
И космонавты, в подтвержденье,
По центрифугам разбрелись, -

Хоть центрифуга - не примета:
Он тоже ей отмечен был,
Когда на старте два поэта
Померились размахом крыл, -

Когда он на одном дыханье
Закончил юности полет -
Единственное оправданье
Существованию вперед, -

Тогда прислушиваясь к морю,
Как пограничник на посту,
Я узнавал в нем твердь подспорья,
Его вознесшего к Христу.

**СТАТЬИ И СТИХИ ДРУЗЕЙ И ПОЧИТАТЕЛЕЙ
ИЗ РОССИИ**

Геннадий Айги, Москва

Из письма от 13.4.1977

Перед лицом Смерти - нет слов...

Но я хорошо помню, как во время похорон Кости я невероятно - необъяснимо - всеохватывающе - ярко з н а л, что ч е л о в е к (личность) не умирает... Но может ли это утешить нас, когда н а с - здесь - на всю эту нашу здешнюю жизнь - оставляет дорогой человек... Упомянутое з н а н и е, может быть, для нашей с у д ь б ы (для понимания ее огромной, беспредельной сущности), а п о т е р я человека, наша о с т а в л е н н о с т ь им - для горя, для горести нашей длящейся жизни...

Из письма от 15.4.1981

Конечно, любая жертва - жертва. Но есть среди них особенные, становящиеся символическими. Для таких жертв характерным кажется несколько общих черт: "какая-то" неопределимая при жизни (и понятная после их гибели) безвинность; особенное обаяние (которое как будто "не для себя", а ради озарения им других); активная притягательность, постоянно творящая вокруг себя б р а т - с т в о других (почти ничего не требуя от нас для себя).

Эти черты, на наш взгляд, составляли редкостную цельную личность К.П. Богатырева.

...Я все более убеждаюсь, что ж е р т в а Константина Богатырева становится все более напоминающей ж е р т в у Гарсиа Лорки (не буду рассуждать насчет разницы масштабов личностей), - реакция все новых и новых людей на происшедшую катастрофу лишь продолжает подтверждать возникшее постепенно мнение.

Сказанное здесь - еще один "последний долг" перед памятью друга.

Геннадий Айги, Москва

ПОЭТУ РОЗЫ ПОЭТА
Десять стихотворений

ПОЭТУ РОЗЫ ПОЭТА
(К 40-летию К. Богатырева)

Rose, oh reiner Widerspruch, Lust...

R.M. Rilke

в том Городе-Репейнике-Железном
где сумерки как души птиц
где окна-розы - монологи Сафо
распахнуты тобою:

светом-в-Свет -

там из лица-ли-своего-окна
во сне в себе ты знал узоры осторожные
в краях других мелькнувшие когда-то
легчайшей светонадписью:

*под вёками ничьими
сни ничьи*

12 марта 1965

СНОВА: ВОЗВРАЩЕНИЕ СТРАХА

К. Богатыреву

друг

мы секунду в ночном пробуждении знаем
 подобную
 камере яркой! -

где вздрагиваем:

словно поверхностью страха вещественного:

лицо! - уже ставшим как место где род погибает! о так
 оно развито друг мой у нас! это - чувство само:
 о когда же прорвавшись за лица - как в Заре
 во-Душу - и точку сознанья-любви расщепляя - про-
 явится То что за Жизнью-как-вещью? -

когда ослепят
 и разрушат:

в ы с ш е е з р е н ь е т о г о - ч т о - я - Е с м ь :

огромным как эта страна окончательная
 ярким и не-отводимым
 такой напряженности холодом - Духу подобным:

как сущностью Этого Места? -

когда же
 глубинам х р а н и л и щ а с т р а х а
 исток его - будто идею таящий! - раскроется:

сжигая я-Мысль! -

до дна иегового

1971 55

ЗАПИСЬ: АРОРНАТИС

К.Б.

а была бы ночь этого мира
огромна страшна как Господь-не-Открытый
такую бы надо выдерживать
но люди-убийцы
вкраплены в тьму этой ночи земной:
страшно-простая
московская страшная ночь

17 февраля 1976⁵⁶

ДРУГ МОЙ - ДЕРЕВО - ИЗ ОКНА

о старости б и одиночества
холодного стойкого! -
да только бы - с р а з у ж е!.. в м и г - в эту ночь - до
конца!

такого бы холода и одиночества
как этого дерева
простая (и даже бросаясь в глаза неприметная)
не покоримая - никем! - незаметность
мерзлость достоинство и обособленность
да непричастность (о Боже! какая
н е в о о б р а з и м а я - э д е с ь - н е п р и ч а с т -
н о с т ь)

1976⁵⁷

ВЕТКА ВЕРБЫ В ОКНЕ

(К. Б.)

Je ne me réveillai, transi de misère et
couvert d'une brume glacée, qu'au moment
où l'on vint m'avertir que mon meilleur
ami était mort assassiné.

Pierre Reverdy.

ветка ветка
все та же
весь месяц... -

душа золотится
в квадрате окна!.. - а сквозь это:

В Р Е З -

(как говорят в их редакциях):

п е р ч а т к а - железная - чтобы - по г л а д и т ь!

.....

и кровью цветет

семьи и души пронизывая

ветками гулко-внежизненными в их одиночестве

КРИК-ЧЕЛОВЕК

не имеющий эха

.....

(все поле мерещится поле пустое о минус-мой-друг

Боже! такой же заброшенности

мокрой как кость

такой же оставленности)

.....

(из яркости дня

в души просачивающаяся

тьма безущербная

с сверх-твердым беззвучием
 неиссякающим)

 о светит сегодня
 одиноко по-зековски и окончательно
 Кровь-Мозг
 раскатами Полости - созданной наспех
 тоже с т р о и т е л ь с т в о м и х
 (и отстранение только такое
 было возможно
 от Быдло-Истории)

(такими раскатами кормится
 это с в е р х - М е с т о)

 а з о л о т и т с я д у ш а и задерживается
 живая
 в окне

 (и чистые в днях и ночах
 только ветер да свет! -

не-текущее время - застывшее поло-бесцветно
 пустым монументом победы Не-жизни:

время которое высосано
 до пустоты
 где проклятье не действует)

 (друг - знавший начало безмолвия друга)

 (тьма
 я
 наощупь)

(как в поле сыром)

.....
.....

("друг" - говорилось

друг

тьма

друг

я

наощупь

на-шепот

наощупь

я друг)

1976, июль

ТРИПТИХ С ЖАСМИНОМ
(К гибели друга)

1. ЖАСМИН - СХОДУ

Жасмин -
как удары ножом.

И молнии мозга -
в ответ.

2. СТИХОТВОРЕНИЕ-КАРТИНА

выписать тщательно меховое пальто с многочисленными кап-
лями крови:

картину - назвать:

" О С Т А В Ш И Й С Я - П О С Л Е У Ш Е Д Ш Е Г О " -

(на полу перед дверью)

3. РАЗГАР-ЦВЕТЕНЬЕ

к р о в о т о ч а щ и е р а н ы л ю д с к и е -
с а д ы и х :

в о з д е л ь в а т е л и - к а с т е т о м о т ы г а м и

(М о з г - Д е р н

С и я н ь е - О т е ч е с т в о)

1976

СОЛНЦЕ АВГУСТА

Памяти Константина Богатырева

Солнце душевно-мое
 словно с каплями пота родное лицо
 есть в тебе
 при тебе
 ныне что-то тревожащее:

мельканье какого-то цвета-ума!

.....

(лучами пронизываются
 ставни притворенные)

.....

думаю вздрагивая: это быть может невообразимая
 присутствие-смерть
 при Солнце и в Солнце - волною:

так было и с другом
 все началось как от некой соринки листка или буквы
 а во что обернулось:

часть смерти-убийцы белея
 зрея шереховато-присутственно
 как ветер неприродный - раздумывая ждущий
 смотрится дышит
 как дверь соседствует -

пока как поляны для игр
 держатся в мире
 ветры-сиянья: отъезды!

.....

(есть Смерть-не-убийца и есть полу-смерть это люди-убийцы)

.....

Солнце душевное как некогда селения родины с сиянием ясно-людским
 т а к э т о т ц в е т

эта-тень-этот-ум-содрогающий-души

возник - стал мелькать
даже в доброохвате твоём!

.....

(и луч спотыкается
как о предмет
о б о т с у т с т в и е)

.....

и в Солнце - не деться
в стране этот ц в е т направляем
о запасах сокровища этого т а к нам известно
и т а к о е оно - излучение смерти-убийства:

пропитавшее ветер и свет!

.....

(простые
истоптанные
п л а х и - п л о щ а д к и :

не так ли?)

.....

и полу-сожженные -
радость головы моей Солнце! -
смотрим в тебя и вокруг - словно в части мы всматриваемся
смерти неплавкой в сиянии дня
с направленьем и скоростью личной -

и ты - домоугол людей Опустившихся - бедами столь человечно
до-выдержанных

ты - народ мой: хоралом! -
ныне ты - храмом без пенья

.....
.....

(прощай же
только теперь -

в Солнце прощай
и в Поэзии-как-в-Осиянности -

друг
Излучавшийся
невообразимо -

Любовь-Человек! -

в Солнце прощай
зековски-свято в стране отснявший -

Солнечный
клавший лучами на нас хлебоцветные руки -

друг
б е л и з н о ю т а к о й отсиявший
что совестно было украшивать розами
друг!.. -

я -

"Я
больше не
найду Тебя.

Ни в ком."

.....
.....

и Дня голова
пращуроликое Солнце
восходишь ты - капищем без охранителя:

пустое - в пространстве пустом! -

при тебе же тоскуя
по Тебе-Чистоте -

е с т ь м ы - хотя бы природною влажностью
защищенность людскую
до капли оплакивающей

.....
.....

и прощаемся друг
так прощаемся:
все свинцово все солнечно -

что за цинковость в теле?

.....

(я думал: что́ в темени родной головы)

.....

(роз белизна
эпитафия-розы Поэта-избранника
мозг озарявшие
где?.. - поэту не выговорить)

.....

(где Сиянье и что Оно значит
от Кого для чего -
знаем мы исходящие сердцесвечением)

.....

.....

и кажется все же: все больше мы люди
в беззащитности - люди: все больше
и п о р а б л а г о д а р н о с т и м и р у
с небывалым понятием
так близка словно в нищем семействе для сына - отца будто выс-
шая пища - лицо:

хлебоцветное
ладонеподобное! -

это - Солнце душевно-родное
Земли нашей Солнце -

(при свете котором
невообразимо
был друг)

1976, август
Лемболово под Ленинградом 58

ДА И ПОЭТ

чего не понимал
то Скукой называли
и никогда не понимал
теперь бывает: пусты дни
как будто ждет убийц и есть договоренность
и так откладывают
что скучно

и знает: то же самое у нас
не называется "трагическое"

Огромности тут нет чтобы сказать: "т а к о е"
через явления иль вещи (а вернее
упомянув куклы их - слова
как говорил Поэт другой) -

все перепутано (а впрочем равнозначно
по выстраданности):

и сына например здесь красные сапожки
пустые (жаль их)
и Солнца
подлинность Огромности

(о да

.....

но гимн - каркас воображаемый
оставь - и так ты знаешь)

и жаль немного: иногда
как будто пенье есть (когда: цветы)
и даже приготавливается
как за кулисами за пазухой - чтоб петься:

поэт же (анекдот: "что - Пушкин
за вас заплатит?")

да: поэт же

(бывали - пишущие а будут - гибнущие
по-новому: без слов
и это - их Поэзия)

и выясняется
что может и повесть:
вой кукольный
и волки-куклы

(а волки-не-слова р а б о т а ю т
и будет смерть-не-слово)

теперь и в С о л н ц е - шорох есть
т р у д а такого
(и в стене - тот шорох)
шурши и сам - не забывай: "... поэт..."

какой еще глагол -
о "долге" чтоб?
а вот: струною-порванной-строкой
успей п у с т о е - в п у с т о т у:

сказать?... - повеять словно над пожарищем
ни для чего и ни к чему?... -

иль значиться что "был" - безгласно выдохнув
остатком пустоты и мертвизны -

что да: что есть Реальность Осиянная
(такая - для себя: лиризм
и нищенство-шедевр т а к о е *есть*
что можно постучать как по железу)

1976, сентябрь

СОН : ДРУЗЬЯ И ТЫ

Друзья и ты в их шутовской гурьбе...

Б. П.

а как же - подростком-и-взрослым-меняясь
теперь
среди живых ты рисуешь? -

знаем: уйдешь ты к своим
а - рисунки: останутся? можно потрогать? -

о Боже такая тоска! - да еще разговариваем
с тобой же: о том что уйдешь:

(и стезею - той самой?). -

и сам подтверждаешь (глазами я спрашиваю)
что да: что ты - смысл: неизменный! -

что - мертв...

12 марта 1979

ЗА ДВЕРЬЮ

а надо страх - иметь

чтоб да: без перерыва

чтоб тонко: да: душа (на то мы есть такие) -

и с жизнью - тоже - то (и сутью вроде - крови:

в болящей - непрерывно - отменимости! -

собору - ея - зная:

и это - все что есть)

была - "пора" и много раз была

теперь без всяких "пор"

иметь уже - такой

иметь - как окончательный:

(чтоб - живу быть

чтоб быть)

- а ведь когда-то (нет того "когда-то")

мы знали-кое-что-и-пребывали

за дверью - будто: час

(Чтоб взгляд разъять и крик)

мельканье: тенью - в голове:

как в мире: беспокойно-розового

(и кроме - тишь: как взор)

как будто Дух-Один (ступеней три-четыре)

(Чтоб кончить - здесь: разъяв)

и шаг - не звук: как шерсть

1979

179

Вячеслав Иванов, Москва

ВИХРЬ

У людей одного поколения вдруг (для них внезапно) находится то, что их соединяет прочнее дат рождения и окончания школы. Поступив в университет, я, к своему изумлению, обнаружил, что не я один знаю наизусть всю "Сестру мою жизнь". Пастернак с юности раз и навсегда открылся тем, с кем я дружил в студенческое время.

У Кости Богатырева черта, общая для всех нас, стала его сутью и судьбой.

Теперь мне кажется, что в порывистости его речи и движений как бы пульсировали стихотворные размеры Пастернака, продолжалась бурность потока пастернаковских образов. Он не просто (как и другие из нас, кому довелось видеть Бориса Леонидовича) иной раз в своем эксцентрическом поведении и причудливой манере говорить подражал поэту, он воссоздавал внутри себя подобие того же вихря. Он был воплощенным захлебом и разливом. Не от того ли его несло вихрем по улицам послевоенной Москвы, по корридорам тогдашних коммунальных квартир, университета и консерватории?

В те годы посетители последних вечеров Пастернака, переписчики его стихов словно основали незримую масонскую ложу, учредили тайный орден его имени.

Один из членов ордена показал мне в сорок седьмом году в университете только что перед тем написанные стихи из романа, сказав, что Пастернак передал их Косте на концерте Рихтера. Костя делился с другими своим счастьем.

Когда - в наступивших вскоре трагических обстоятельствах - он смог передать силу своей привязанности самому Пастернаку, для того это было очень важно. Сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, Борис Леонидович рассказывал мне, что ему говорил Петр Григорьевич, Костин отец, получивший разрешение повидать Костю на Севере. Костя сказал отцу, что именно благодаря Пастернаку и его стихам он

смог все эти годы выдержать. Борис Леонидович сказал тогда, что эти слова Кости - из самых главных для него вещей, о которых он не может ни с кем говорить дома. Среди домашнего и мирового одиночества Пастернака тем заметней была Костина ему преданность.

То, в какой мере Костина судьба была переплетена с пастернаковской, я потом уже понял, слушая рассказы Кости о следствии. При обыске у него взяли машинописный текст первых частей романа и стихов Живаго. По его словам следователь толковал стихотворение "Гамлет" как противоправительственное, читал Косте целую литературоведческую лекцию об этом.

Костю (как и еще двух моих знакомых) следователь заподозрил и в сочинении стихов, где Сталин назван "непонимавшим Пастернака" (едва ли худший из всех грехов деспота, при всей его бесспорности).

В наш век подлинность чувства проверяется на краю, у обрыва, в кабинете следователя, на пустыре. Переплетение костинной судьбы с пастернаковской длилось до последних дней, когда Костя часто приезжал к умирающему Борису Леонидовичу.

Я любил Костины рассказы о встречах с Пастернаком. В них меня привлекали не свидетельства чего-то случившегося, а сногосшибательная неожиданность, подстать самому Пастернаку.

Вот Костя на даче у Бориса Леонидовича со своим другом (позднее оговорившим Костю) и его женой, по костинному описанию - красавицей.

Она расположилась в эффектной позе на диване. Пастернак вдохновенно что-то объясняет, она ничего не понимает. Ее непонимание Костя умел живописать с не меньшей темпераментностью, чем напряженность речей самого Пастернака. Косте не изменяло чувство юмора, смех был обычно составляющей частью повествования.

В рассказах о Пастернаке он был точен, на первый взгляд мог быть и критичен. Как-то передавая мне чей-то разговор с Пастернаком перед самой нобелевской премией, Костя заметил: "Он стал еще эгоцентричнее". Интонация противоречила прямому смыслу фразы, она была восторженной. Впрочем, эгоцентричность для Кости не была осудительной характеристикой, он и сам сознательно к ней стремился. Но он никогда не мог стать эгоцентричным, как того ни хотел. Его всегда тянуло к очередному предмету увлечения. Это могла быть жен-

щина или книга. Он восторгался без удержу, не знал меры. Как других настоящих женолюбцев, его занимали товарищи по безумству. Он их открывал - или уличал - с радостью. Назвав приятеля бабником, он потом объяснял мне, что ему достаточно было перехватить взгляд, брошенный тем на его однокурсницу, чтобы поставить безошибочный диагноз. Сторона жизни, для него много значившая, не должна была оставаться в тени. Ему нравились писатели, писавшие, как он говорил, "очень неприлично" - Гюнтер Грасс, Фолкнер. Ему претила вычурность.

Он и в разговорах близких знакомых ценил неожиданную грубость выражений. Как-то мы говорили о Лиле Юрьевне Брик. "При тебе она стесняется материться", - сказал Костя. Он только что перед тем был у нее. Она смотрела телевизор. Выступал один из бывших рапповцев, когда-то травивших Маяковского. Она выругалась на телевизор. Костя повторил ее ругательство. Соль была не в непечатном слове (им сам Костя владел мастерски), а в парадоксе его сочетания со светкостью бесед Лили Юрьевны.

Книги соперничали с женщинами. Начав читать немецкое сочинение о мифологии или статью о поэтике в "Вопросах литературы" Костя съезжал на время в город с дачи в Мичуринце, чтобы никто не мешал читать. Слышать от него о только что прочитанном было удивительно. Я помню захлебывающийся его рассказ о Клаусе Манне. Он мог не просто заразить своей увлеченностью, степень его соучастия в прочитанном граничила с соавторством.

Оттого он и был прирожденным переводчиком по призванию. Он хотел делиться. Он хотел дать почувствовать другим свою радость. Оттого и по книгам проходил ветер при его прикосновении. Порядок на полках, подробнейший немецкий справочник произведений мировой литературы, хорошие переплеты, столько раз в чемоданах кочевавшие при переселениях с одной квартиры на другую, - все это было, как частокол нужно, чтобы их не сдул начинавшийся ураган. Буря, поднявшаяся когда-то в томике стихов, так и не улеглась. Она подстерегала на книжной полке. Книги были знаками судьбы, как у чернокнижников.

У Кости им не удавалось жить порознь и обособленно, они становились рядом. Перетекали друг в друга не только строки, слова и грамматические формы, но и сами писатели. Самая серьезная из его

работ - Рильке. Чтобы понять ее, надо знать его отношение и к Рильке, и к Пастернаку, который постоянно звучит в его переводах. Мы знаем, скольким обязан Пастернак Рильке - но в стихах Пастернака (кроме нескольких поздних из евангельского цикла) это почти не ощутимо. Костя, благодаря внутреннему сходству с пастернаковской стихией сумел по-русски передать то, что соединяет двух поэтов. Это не только и не столько перевод, сколько соположение двух родственных традиций. Две реки в одном море - уже после впадения, когда их воды перемешались - в самом Косте. Из двух поэтов Костя предпочитал все же Пастернака. Уже когда он был близок к завершению книги переводов, он говорил мне о достоинствах Пастернака по сравнению с Рильке. Мне запомнилось, что достоинства лежали не в сфере поэзии, а в жизни. Пастернака отличало, что он умел любить (я вспомнил страшное письмо Рильке, где он сомневается в том, что вообще любил кого-нибудь).

Костя умел любить, а не просто увлекаться, погружаться с головой, теряя голову и чертя голову, быть одержимым. Как-то раз мне довелось испытать близко степень его сверхдоброжелательного внимания. Ему понравился один вид моих писаний. Он принял в них такое участие, что я не мог их не продолжить. Сама форма их была нова и озадачивала иных слушателей, не только меня самого. Поэтому без костиного одобрения едва ли я мог написать целую книгу в этом роде. Не знаю, оправдано ли в этом случае было костино воодушевление, не мне это решать. Но я понял, как много мог Костя вызвать в другом силой своего внимания. Костя всех воспринимал таким крупным планом, что невольно при нем становились крупнее. Надо было дотянуться до уровня, который задавало его воодушевление.

Я больше любил встречаться с ним случайно, набегу (или на еще большей скорости - мы обо многом переговорили, мчась на такси через весь город за чемоданами, забытыми в гостинице Романом Якобсоном, оставшимся нас ждать на вокзале - а до отхода его поезда оставалось меньше часа), в библиотеке, на улице или даже на людях, но не тогда, когда это была запланированная встреча. Таких было тоже много, мы встречали вместе Новый год или бывали друг у друга в гостях, но иной раз он и уклонялся от того, чтобы его движение вставили в расписание. А если мы и были вместе в гостях, то

разговор между нами заигрался, когда все уже прощались. Костя выходит как бы меня провожать. Глухой ночью мы идем навеселе по улице и сворачиваем в почти не-освещенный двор. Поднявшись по лестнице полуразвалившегося дома, Костя стучит в стену кулаком, чтобы не будить звонком соседей. Он вводит меня в заповедные переулки, тупики и строения, которые в тогдашней Москве еще не были снесены, а теперь о них прочтешь разве что в "Поверх барьеров":

Ни зги не видать, а ведь этот посад
 Может быть в городе...

Костя, как все русские писатели золотого века, любил впечатления при разъезде гостей. После пирушки с участием тогдашних литературных знаменитостей Костя мне передал ощущение не от самой этой встречи, а от того, что было потом: как один из преуспевающих поэтов помыкал другим - своим всегдашним соперником, велел тому сесть в такси и так и не дал проводить третью в их давнем треугольнике (скорее книжном, чем жизненном, оттого я слышал от Кости не сплетню, а готовую главу из истории псевдо-литературы: в иссякавшей словесности его занимали единственные ее живые персонажи - сами авторы).

Костя не искал опыта. Тот сам его находил. Костина дорога всегда - до самого конца - была самой трудной. Но говорил он о пережитом без горечи - даже о своих распухших ногах, которые часами держал в воде, надеясь избежать пыток в сухановской тюрьме. Когда в лагере ему встретились немцы, он практиковался в языке с ними разговаривая. О тюрьме, следствии и лагере рассказывал жестко, но скорее даже весело, хотя пугавшемуся и замороженному слушателю трудно было отличить улыбку от нервной гримасы, искажавшей его лицо.

В рассказах слышалась проза. Их нельзя пересказать, а слова его остались не записанными. Только их слышавшие знают, что мы потеряли писателя, книги которого о прошлом были все в будущем - для него и нас не состоявшемся.

Я начал с нашей общей любви к Пастернаку, которую мы делили со всем поколением. У нас с ним были и еще две (по меньшей мере) привязанности, нас связывавшие. Одной из них был Роман Якобсон. Костя любил в нем не просто ближайшего друга отца, которого знал

с детства. Чутье к значительному позволяло ему миновать дебри специальных технических терминов и за ними разглядеть в Якобсоне то резко выпиравшее из привычного, сглаженного несоразмерно (в сравнении со степенями и званиями) крупное, что ставит его в один ряд с большими поэтами и художниками начала века, о которых метафорой мельниц сказал Пастернак:

Но они и не жалуются на каторгу.
 Наливаясь в грядущем и тлея в былом,
 Неизвестные зарева, как элеваторы,
 Преисполняют их теплом.

Костя угадывал, в ком просвечивают неизвестные зарева. Дважды я был с ним вместе у Пастернака, когда к тому приезжал (в конце весны 56 года и осенью 58 года) Роман Якобсон. Костя был из тех слушателей, без которых те встречи многое бы потеряли.

Большие художники больше других нуждаются в понимающей аудитории, от нее зависят. Как говорил Пастернак: "Блок мог писать лилово, потому что его слушатели лиловые люди". Разевать рот всякий умеет. Костя один так это делал, что стыдно было не оправдать выданный им вексель. Приходилось расплачиваться. Часть причин торжествующей на всех широтах серости я вижу в отсутствии таких слушателей, как Костя.

Но и приговоры, им выносившиеся были желчны и безоговорочны (на них он не тратил лишних печатных слов, иногда ограничиваясь междометием и смехом, в этом случае особенно выразительном), шла ли речь о людях или о стихах (переменившимся выражением лица он как-то раз навеки осудил вирши, у меня не получившиеся). Встретив продажного писаку (в прошлом из интеллигентов нашего круга) в переделкинском лесу, он обрушивал на него шедевры солдатского и лагерного красноречия. Он умел сжато выражать такие чувства и на бумаге. Не это ли умение стоило ему жизни?

Другой нашей общей любовью (при всей разнице в чувствах сына и полуученика) был Костин отец. Сходство отца и сына было не только внешним. От Петра Григорьевича, наредкость одаренного не только в науке, Костя унаследовал или перенял многое - здравый смысл, особенно поражающий при внешних чудачествах, чувство смешного, скоморошье умение рассказывать, угловатость самородка. Не у всякого отец - большой ученый. Не всякому дана с детства дружба с другом отца - другим большим ученым - и близость с великим поэтом.

Все это надо суметь выдержать. Да еще человеку до предела нервному. Да еще тюрьма и лагерь, фантастичность обвинений, нелепость их политического звучания - их предъявляли человеку, жившему не политикой вовсе (и в этом сходство его судьбы с пастернаковской).

За все любви и дружбы приходилось платить дорого. Лагерь стоил ему любви. После освобождения он пришел к Лиле Юрьевне с девушкой, которую любил еще до ареста. От нее первой я узнал, что Костя на переследствии; оно было трудным - оговоривший его друг отказался взять назад оговор. Лиля Юрьевна спросила: "Дождалась?" Он ответил: "Не дождалась."

Как горевал он, когда однажды ему велели уехать в Ленинград от встречи с Романом Якобсоном (он тут же вернулся и встретился с ним).

А по обвинению было видно: бездарные неучи мстили ему за отца-основателя современной фольклористики. (Мое знакомство с Петром Григорьевичем началось на первом курсе с того, что я пришел на его доклад "Лингвистика и фольклористика" на Научном студенческом обществе, доклад отменили, он так и не состоялся.) За этим последовало травля Богатырева, наветы на Костю, не отличавшегося спортивными данными казались пародией на подвиги богатырей в русских былинах. То ли он хотел взорвать Кремль, то ли истребить всех, причастных к власти. И доцента филологического факультета Василенка (читавшего тогда спецкурс о фольклорных образах у Сталина) прежде всего.

Он знал толк и в сути работ Петра Григорьевича. Мои совместные с В.Н. Топоровым сочинения о славянском язычестве сперва заинтересовали Костю именно как продолжение отцовских занятий. Интерес Кости к вышедшей книге был не чета обычным стертым фразам. Любовь к ней он овеществлял, закупая ее в гиперболическом множестве экземпляров и рассылая друзьям. Встретившись с ним незадолго до случившейся с ним беды, я узнал, что так он обошелся и с нашей книгой о славянских древностях⁵⁹. Когда Петра Григорьевича не стало, Костя позвал меня, чтоб отдать то из отцовской библиотеки, что могло быть мне нужно.

Любовь Кости к книгам была истинной страстью, как все, его бушевавшее. То, что он делился со мной книгами из числа для него заветных, не было делом случая. Не просто давать - дарить свое

самое заветное было его умением. В мире равнодушных он был пре-
исполнен не остывшим кипением. Не оттого ли его несло вихрем?
Унесло от нас.

Борис Пастернак, Москва

Письмо от 27-го января 1954

Дорогой Костя!

Ждать осталось недолго! Мужайтесь, крепитесь. Спасибо за память. Папа Вам обо мне напишет. От души желаю Вам в нужном количестве сил и здоровья, нет, в избытке, больше, чем нужно. И терпения, терпения.

Всегда Ваш

БПастернак

Письмо от 2-го января 1958

Дорогой Костя, с Новым Годом Вас и всех Ваших! Благодарю Вас от души за письмо и вложения. Я этих вещей не знал, Вы мне доставили большую радость, спасибо!⁶⁰

Благодарю Вас и папу за память, за поздравления и телеграмму к праздникам, за переводы, которые Вы мне посылали и которые мне очень понравились. Я все время очень занят, хотя и не всегда с пользой и производительностью. Но все складывается у меня великолепно, я и отдаленно не заслуживаю такой судьбу⁶¹. Но недосуг такой, что даже нет времени опомниться и сконфузиться. Не думаете, что я забыл Вас. Когда можно будет, я по примеру прошлых лет извещу Вас и позову к себе. Всего Вам лучшего.

Ваш БП.

Вадим Козовой, Москва-Париж

Из: ЕЩЕ ОДНА ВАРИАЦИЯ

Памяти Константина Богатырева

Хотел уснуть но во сне как на волос
птичьего озираясь кричит
не жаль не жду в их ночь отголоска
костлявую точит слезу

прошлого лист дубовый не слышен
выйду пустыня торчком
устал покоя звать сколько брошено
и не о чем говорить

ЛЕБЕДА

как выкорчеванных деревьев
спит и

ЛХ

ночь безболезненно
под пах и

сорвав повязку

РОТ

с подорожником

чтобы до самых корней
в грудь и лед и кремнистый

РАСПАХНУТО

земля ей дышать нипочем

Владимир Топоров, Москва

ВЕРНОСТЬ ДУХОВНОМУ ИДЕАЛУ

Die, so ihn leben sahen, wußten nicht,
wie sehr er Eines war mit allem diesen;
denn Dieses: diese Tiefen, diese Wiesen
und diese Wasser w a r e n sein Gesicht.

R.M. Rilke, Der Tod des Dichters

Константин Петрович Богатырев родился 12 марта 1925 года в Праге, где за полвека до этого увидел свет Райнер Мариа Рильке, с которым так скрещена судьба русского поэта. С 1928 года он жил в Москве. Здесь он кончил школу, отсюда он ушел на войну, чтобы, вернувшись с нее, поступить в Университет, который ему удалось кончить лишь много лет спустя, после долгого и вынужденного жестокими обстоятельствами перерыва. Последние два десятилетия были посвящены переводам немецкой литературы: Готфрид Страсбургский, Гельдерлин, Шамиссо, Геббель, Тракль, Целан, Брехт, Кестнер и - Рильке. Переводы из чешской литературы и серболужицкой народной поэзии были данью тем славянским культурно-языковым традициям, которые в течение тысячелетия теснейшим образом соприкасались с германской стихией, впитывая в себя одни ее элементы, отталкивая другие, трансформируя третьи.

Смерть прервала жизнь 18-го июня 1976 года, через полвека после кончины Рильке в клинике Валь-Монт. В воскресенье 20-го июня на переделкинском кладбище прощались с Богатыревым.

Для человеческой жизни смерть не есть нечто чуждое, внешнее и непременно противоположное ей. Но это была не та смерть, о которой просил Рильке:

O Herr, gieb jedem *seinen eignen* Tod,
Das Sterben, das aus jenem Leben geht...

как о самой органичной и человекообразной (подробнее - в "Мальте Лауридсе Бригге", в переводе которого должен был участвовать К.П. Богатырев). Она была насильственной, н е с в о е й, но при том

не неожиданной. В жизни Богатырева было так много страшного и причиняющего страдания, что вся она с известной точки раз и навсегда стала той пограничной ситуацией, в которой и разворачивается бытие-к-смерти (Sein zum Tode). Это постоянное соседство смерти и мужественное принятие ее позволяло Богатыреву из "темницы" неподлинного существования, из обезличенного и опредмеченного мира успокаивающей видимости, где человек живет "wie man lebt", защищенный как гарантией ссылками на авторитет (man sagt, man lebt, man tut), вырваться в мир подлинного бытия с его незащищенной свободой перед лицом смерти. Константин Петрович был редчайшим и мужественнейшим обладателем этой свободы. Он нес ее в себе, потому что нес и сопresentствующую ей смерть (der Tod):

Wenn wir uns mitten im Leben meinen,
wagt er zu weinen
mitten in uns.

Знание о трагизме человеческого существования, предчувствие своей судьбы и неуклонность от нее (amor fati) определили самое важное в Богатыреве - постоянное пребывание вне себя (внутреннее направленное человекостроительство), в движении к жизни как переживанию мира (welterfahrendes Leben), к бытию. Но Богатырев был не только человек исключительной внутренней свободы. Он был веселый (в своем первоначальном смысле, не отделимом от значения 'здоровый', 'цельный',) и счастливый человек, как тот, у кого чистая совесть, кто знает истинное и не сойдет с пути, кому уже не страшен сам страх. Забота и страх ничего не могли изменить в нем к худшему (ведь ему были знакомы и переживания "последнего дня приговоренного к казни" и его собственные "омские пали"⁶²: напротив, они делали для него бытие еще более открытым, сливая его Я с миром и тем самым удостоверяя их высшее тождество и сродство. Они не могли отнять у эпоху метафизики, фельетонизма и насилия неизмеримо возрастает.

Русский Рильке не мог быть результатом т о л ь к о глубокого проникновения в немецкий текст и высокого таланта поэта-переводчика. Для этого нужно было знать и чувствовать основное и первоначальное еще д о начала всего, а, увидев стихи Рильке, - прочитать их как свою собственную судьбу и предназначение:

Und da weißt du auf einmal: Das war es ...

В этой перспективе очевидна символическая отмеченность судьбы Богатырева и его дѣла.

Ян Сатуновский, Москва

Из: РЕКВИЕМ

Несколько стихотворений о жизни и смерти

Соч. 339

Картина с таким сюжетом
зевак не остановит.
Не всякий знаток, между прочим,
ее выраженье уловит;
она не выходит за раму
в трагедию или драму;
но,
если ты ранен в сердце,
приди,
и смирись со Смертью.

.....

Соч. 1004

В апреле прилетают жаворонки,
взгляну на небо голубое,
а по утрам бывают заморозки,
глаза и зубы обезболю.

Может быть, я еще в лес похожу, на ежей погляжу,
может быть, я еще 20, ну, 30 вещей напишу,
чувствую: в жизни моей перелом наступил,
хрустнуло, на меня костолом наступил.

1964 - 1978

Василий Аксенов, Москва-Вашингтон

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

... Всякий раз как я встречал его на улочках нашего квартала, мне вспоминались университеты и не отвлеченные понятия высшего образования, но университетские территории, то, что сейчас называют кампусами.

Он был вообще-то переводчиком европейской поэзии, то есть поэтом и сам себя, кажется, вовсе не связывал с университетами, с какими-то закрытыми учеными товариществами, а, напротив, быть может, полагал себя человеком улицы, бродягой, забубенным стихоплетом вроде Франсуа Вийона.

Я встречал его редко, но всякий раз, как мне сейчас представляется, где-то или в саду, или в аллее, всякий раз под какими-то огромными свисающими ветвями. Профессор (будем называть его так, хотя у него, кажется, не было ни единой ученой степени) с терьером на поводке, а сам похожий на ирландского сеттера, рыскал по кварталу в поисках созвучий. Мне казалось, что ему следует бежать всего того, что похоже на слова "гастроном", "комбинат", "протокол" ...

Однажды пришлось мне посетить городок Блумингтон, где в соответствии с названием процветает старый университет и колоссальные везде произрастают деревья. Ночью студенты бессонные шляются по пиццериям, в предгрозовой духоте проплывают они как медузы, угри и тритоны. Там мы с дружкой, хлопоча по части шамовки, передвигались в ночи. Там нам обоим вдруг вспомнился рыжий Профессор, вдруг одновременно в память пришел и связался с университетом. Вероятно, все же существовала в невидимом мире двусторонняя связь между Профессором и университетами.

Прошлой весной было отмечено, что деревья в нашем квартале весьма произросли и поднялись над крышами. Той же весной стало известно, что Профессор убит бандитами. Шутки ли ради или по сле-

поте судьбы, но он попал в криминальную статистику, в разряд невинных жертв.

Злой умысел его догнал, так подвывали сквозняки на тех углах, где он когда-то резко заворачивал со своим терьером. Какая бессмыслица - так грустно шелестели посеребренные луной деревья в тех садах. Любой злой умысел бессмыслен - так печально полагала луна.

Не так ли? Бессмыслен удар железом по голове, но проломленная голова полна смысла. Нелеп выбор невинной жертвы, но сама невинная жертва полна смысла, лепости и благодати.

Кварталы наших домов, мигающих робкими огоньками, шумящие сады, полные тихих лепечущих душ, тротуары, на которых с каждым дождем проступают легкие следы Профессора, что рыскал здесь с терьером на поводке в подслеповатом розыске созвучий...

Иван Рожанский, Москва

НА СЛУЖБЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Не помню точно когда это было - может быть в год смерти Б.Л. Пастернака, а может быть еще раньше: я беседовал с Мариной Казимировной Баранович. Как всегда, разговор шел о дорогих для нас вещах - о поэзии, о Пастернаке, о Рильке. "А Вы знаете Богатырева? - спросила М.К. - Очень умный мальчик; он переводит Рильке. Вам было бы интересно с ним познакомиться." Так я впервые услышал о Косте.

А в одно из воскресений 1961 года мы с женой впервые навестили Костю, предварительно договорившись с ним по телефону. Он жил тогда в квартире своего тестя, Игнатия Игнатьевича Ивича, в старом одноэтажном домике в Замоскворечье, который казался вросшим в землю (войдя со двора в подъезд, надо было спуститься немного вниз). Курьезная квартира состояла из нескольких малюсеньких, но уютных комнат. Дело происходило, как кажется, летом; во всяком случае, Костя и Соня (его первая жена) были дома одни. Я очень хорошо помню эту первую нашу встречу. Мы были приняты очень радушно и после нескольких фраз уже чувствовали себя как дома. Вообще, непринужденность и открытость были свойствами, органически присущими Косте: я никогда не видел его скованным, неискренним, надевшим какую-либо личину. Его некрасивое, узкое, как бы птичье лицо (длинный нос, уходящие назад лоб и подбородок) было одухотворено неизменно живым и умным взглядом - иногда любознательным, иногда ироническим, иногда с озорной смешинкой. У него был характерный приятный тембр голоса; он говорил "прирожденно громко, выдерживая голос на той ровной, всегда одной, с детства до могилы усвоенной ноте, которая не знает шопота и крика, и вместе с округлой картавостью, от нее неотделимой, всегда разом выдает породу" (Пастернак). Применительно к Косте слово "порода" надо понимать не в смысле дворянского происхождения, а в смысле внутреннего

благородства, своеобразного духовного аристократизма. Со всеми своими друзьями он держался абсолютно одинаково, а в числе его друзей было много очень разных и весьма примечательных лиц - назову таких, как Пастернак и Ахматова, Генрих Белль и Роман Якобсон, Макс Фриш и Эрих Кестнер, Андрей Волконский и Геннадий Айги.

После первой встречи Богатыревы начали бывать у нас. Так завязалась наша дружба, остававшаяся неизменной на протяжении всех последующих лет. Про Костю говорили, что он неврастеник, истерик, что в личном общении он часто бывает невыносим. Ничего этого я не знаю. Конечно, нервы у него были не в порядке, об этом свидетельствовало, хотя бы, всегдашнее дрожание его рук, несомненное следствие прошлых переживаний - страшных допросов во время следствия, смертного приговора, лет проведенных в тюрьме и лагере. Но со мной Костя был всегда одним и тем же, неизменно ровным и доброжелательным; в наших отношениях не было ни единого темного пятнышка, чему не могли помешать ни перипетии наших личных судеб, ни его ссоры с моими близкими друзьями. Может быть это объяснялось тем, что дружба наша имела по преимуществу интеллектуальный характер: мы не старались влезать в душу друг друга (в этом отношении Костя был очень тактичен) - у нас было достаточно много общих интересов в области литературы, искусства, общественной жизни.

Что касается литературы, то тут у Кости был абсолютный слух: он сразу же отличал настоящие ценности от всего ложного, сомнительного, внешнего. Безвкусицы он не прощал никому. Иногда его суждения казались неоправданно резкими; не раз я пытался спорить с ним, когда с язвительным сарказмом отзывался он о стихах некоторых популярных поэтов или о произведениях писателей, снискавших широкое литературное и общественное признание. В конце концов я всегда убеждался в его правоте. Все дело было в том, что явления литературы он оценивал по самому высокому счету. При этом он умел отделять личность писателя от его творчества: он мог с большим уважением относиться к человеку и в то же время строго критиковать художественные недостатки его произведений. Пример - Пастернак, которого Костя обожал, что, однако, не мешало ему совершенно объективно отмечать слабые стороны "Доктора Живаго".

Существуют разные типы переводчиков. Костя был типичным переводчиком-поэтом. Я до сих пор не верю, что он не писал собствен-

ных стихов (хотя сам он всегда отрицал это)⁶³. В процессе перевода Костя не стремился к буквализму: он пытался воссоздать художественный эквивалент оригинала, даже если для этого приходилось порой жертвовать смысловой точностью. С этой точки зрения к его переводам легко придраться, однако я не представляю себе, чтобы в них можно было найти примеры банальностей, общих мест или таких переводческих штампов, которыми охотно пользуются иные из современных переводчиков. Будучи в душе поэтом, Костя не любил переводить прозу: за переводы прозаических произведений он брался неохотно и только лишь для денег. Любопытно, что в процессе переводческой работы рифмованные стихи он предпочитал белым, нерифмованным: он утверждал, что переводить стихи с рифмами ему легче. Последнее, однако, несколько не влияло на его поэтические вкусы: так, из поэтов нашего времени выше всех он ставил Г. Айги - поэта, творчество которого бесконечно далеко от традиционных форм русского классического стиха.

К своему труду переводчика Костя относился с исключительной добросовестностью. Он переводил медленно, с трудом, постепенно вживаясь в оригинал, многократно переделывая и шлифуя уже казалось бы законченные вещи. Так, переводя Рильке, он внимательно изучал имевшиеся в его распоряжении комментарии, уточняя встречающиеся в стихах реалии, выясняя аллюзии и т.д. Я помню, что при переводе стихов из цикла "Соборы" он брал у меня книги и альбомы, где были воспроизведены образцы готической архитектуры, и вникал во все ее детали.

Костя часто жаловался на пробелы в своем образовании, на свою якобы неграмотность в науке, истории, философии. Иногда он приступал к систематическому изучению соответствующих курсов, конспектируя их, делая выписки. Насколько я могу судить, эти порывы длились у него недолго: Косте не было дано стать эрудитом-всезнайкой, да он в этом и не нуждался.

Костя, естественно, любил, когда хвалили его работы и, встречая в печати положительные отзывы о своих переводах, он с откровенной гордостью демонстрировал их своим знакомым. Мне представляется, что это невинное хвастовство было лишь внешней позой, маскировавшей его всегдашнюю внутреннюю неуверенность в себе; по существу же к своей работе он относился придирчиво строго. Редко

встречающейся и очень симпатичной чертой Кости было полное отсутствие зависти к его коллегам по профессии. Так, впервые сообщив мне фамилию В. Микушевича (действительно талантливого поэта и переводчика), Костя назвал его переводы гениальными, перед которыми его собственные работы представляются ему дерьмом. Примерно в таком же духе он отзывался позднее о переводах Е. Витковского. Правда, подобные увлечения у Кости со временем проходили и он начинал более объективно соотносить свои и чужие заслуги. Разумеется, о бездарных, трафаретных переводах он судил со свойственной ему беспощадностью. Но, повторяю, зависти, стремления принизить достижения других способных и добросовестных переводчиков у него не было никогда.

Костя любил публично читать свои переводы и в его чтении их достоинства выступали особенно отчетливо. Он вообще прекрасно читал стихи; правда, в его исполнении (за исключением его собственных работ) я слышал только стихи Пастернака. Но он читал их так хорошо - учитывая, но отнюдь не пародируя незабвенную авторскую манеру чтения - что многие пастернаковские стихи, например "Марбург", "Импровизация", "Волны", воспринимаются мною теперь сквозь призму костиных интонаций.

Пастернак - поэт и человек - был Костиным кумиром. Насколько мне известно, Борис Леонидович в свою очередь любил Костю и ценил его талант (так же, как и Ахматова - о чем я могу судить уже не по наслышке, а на основании моих личных бесед с Анной Андреевной). Костя был одинаково вхож и в дом Пастернаков и к О.В. Ивинской, а в последние недели жизни Бориса Леонидовича, когда тот уже был прикован к постели, он служил как бы связным между ним и Ольгой Всеволодовной, о чем он сам рассказывал мне с грустной иронией.

Еще об одной Костиной черте я хочу рассказать - о его любви к книгам. Пользуясь своими зарубежными знакомствами и широко их эксплуатируя, Костя собрал замечательную, может быть даже уникальную библиотеку немецкой литературы. Его отношение к этой библиотеке было отношением коллекционера-библиофила: собрания сочинений почти всех сколько-нибудь известных немецких авторов стояли у него на полках в идеальном порядке - новенькие, чистые, без единого пятнышка. Никому другому пользоваться этой библиотекой он не раз-

решал, а если нужно было посмотреть из нее какую-нибудь книгу, давал ее в руки только в своем присутствии, внимательным и ревнивым взором следя за тем, не будет ли хотя бы одна страница помята или замаслена. Сомневаюсь, что сам он когда-либо прочел все эти книги - или даже часть их. Для работы он пользовался экземплярами, не входившими в основной фонд его библиотеки. Если же у него оказывались дубликаты или такие книги, которые по тем или иным причинам не попадали в этот основной фонд, он охотно и щедро дарил их своим друзьям. Так, в разные годы он подарил мне: двухтомник писем Рильке, целый ряд литературоведческих работ об этом же поэте (он считал, что они мне нужнее, чем ему), далее изящный старинный томик рассказов Э.Т.А. Гофмана с раскрашенными от руки рисунками и многое другое. В Костином инстинкте коллекционера не было ни малейших следов жадности или скупости.

В конце 60-х годов наши встречи с Костей приобрели не только личный, но, в какой-то степени, и деловой характер. Это было связано с подготовкой сборника произведений Рильке, вышедшего в 1972 году под заглавием "Ворпсведе. Роден. Письма. Стихи"⁶⁴. Об истории этого сборника я расскажу несколько более подробно: эта история представляет интерес и сама по себе.

В это время в числе сотрудников издательства "Искусство" оказалось несколько молодых энтузиастов, задумавших издать интересную серию под общим заглавием "Писатели об искусстве". В предварительный план этой серии были включены Валери, Кафка, Лорка, Пастернак, Рильке, Цветаева. И вот, в качестве первого номера серии было решено подготовить сборник "Рильке об искусстве", в который вошли бы искусствоведческие работы поэта, подборка его писем и ряд стихов, тематически связанных с искусством. Позднее, в качестве приложения, к книге был добавлен раздел "Русские связи Рильке". Главным зачинателем этого предприятия был редактор издательства Саша (Александр Анатольевич) Морозов, человек во многом примечательный, по образованию - классик-филолог, а по призванию - стиховед, один из лучших в нашей стране знатоков творчества О.Э. Мандельштама. О нем когда-нибудь надо было бы написать особо, но пока он, слава богу, еще живет и здравствует.

Для подготовки сборника была образована совершенно неофициальная рабочая группа, в которую, кроме Морозова, вошли три перевод-

чика Рильке - Костя, Микушевич, Ратгауз, а также Е. Головин, В.В. Иванов и я. Эта группа периодически собиралась в издательстве и обсуждала предполагаемый состав сборника, распределяла работу среди переводчиков, оценивала качество уже имевшихся в наличии или новых переводов.

Надо заметить, что в таком объеме Рильке у нас издавался впервые. Правда, незадолго до этого, в 1965 году, вышел небольшой сборник стихов этого поэта в переводах Т. Сильман⁶⁵, но в силу не слишком высокого качества большинства переводов, сборник этот не стал литературным событием. А вообще, в официальных сферах к Рильке относились по меньшей мере подозрительно: он считался поэтом, глубоко чуждым советской действительности - мистиком, идеалистом, реакционером и т.д. Еще в конце 30-х годов был подготовлен небольшой сборник стихов Рильке, одним из участников которого был Н.Н. Вильмонт, выполнивший для этого сборника ряд переводов (он-то и рассказал мне впоследствии об этом проекте). Но издать этот сборник не разрешили. В первые послевоенные годы в Ленинградском университете была написана диссертация о Рильке⁶⁶, но как раз в это время в "Правде" появилась одна из очередных статей А. Фадеева, в которой имя Рильке упоминалось в самом отрицательном контексте⁶⁷ (я не сомневаюсь, впрочем, что сам Фадеев о Рильке ничего толком не знал и никогда ни в каком виде его не читал). Естественно, что защита диссертации не состоялась. В эпоху следовавшей затем оттепели Рильке открыто не громили, но подозрительное отношение к нему сохранялось. И лишь выход упомянутого сборника переводов Т. Сильман и в особенности вступительная статья к нему В.Г. Адмони (в текст которой, кстати сказать, были включены новые пастернаковские переводы Рильке - "За книгой" и "Созерцание"⁶⁸), позволяли надеяться на изменение этого отношения. Именно с такой надеждой мы и приступили к работе над сборником.

Что касается Кости, то он к этому времени уже перевел довольно много стихов из первой части "Новых стихотворений" и просто предоставил эти стихи в распоряжение редколлегии сборника. Другой работы специально для сборника он не выполнял, а на заседаниях нашей группы защищал ту точку зрения, что все творчество Рильке настолько тесно связано с искусством, что никакого особого отбора (по тематическому принципу) производить не следует: все лучшее,

что имеется на русском языке из Рильке, может быть включено в сборник. В отношении стихотворной части сборника с этой точкой зрения можно было согласиться.

Составителем сборника, взявшим на себя работу также по написанию вступительной статьи, по составлению биографической справки и по переводу большинства писем, был другой молодой энтузиаст - Женья Головин. Но он оказался не очень серьезным человеком: когда первые фрагменты его статьи и черезчур вольные переводы некоторых писем были нами подвергнуты суровой критике, он обиделся и вообще отошел от работы, но хотя план сборника претерпел в дальнейшем существенные изменения, имя Головина как составителя сборника все же осталось стоять на обороте титула книги.

Затем последовал значительно более тяжелый удар: Саша Морозов был уволен из издательства. Дело в том, что в это время прошел процесс Гинзбурга и Галанскова; Саша хорошо знал Галанскова, считал его безусловно честным человеком и, когда было созвано собрание сотрудников издательства, долженствовавшее заклеить осужденных и одобрить приговор, выступил со своим особым мнением. По складу своей души он просто не мог поступить иначе. Результатом его выступления было то, что вот уже более десяти лет этот умный, глубоко культурный, душевно чистый и тонкий человек не может найти себе постоянной работы и живет за счет случайных заработков, фактически находясь на грани нищеты.

К этому времени я уже числился научным редактором сборника, а теперь мне пришлось взять на себя и основную тяжесть организационно-технической работы. Новый издательский редактор, преемник Морозова по сборнику, оказался человеком вялым и равнодушным, охотно передоверившим мне все заботы, которые, строго говоря, входили в круг его обязанностей. Даже правкой корректур он занимался крайне небрежно, очевидно надеясь, что я все сделаю за него. У меня же в прошлом не было никакого опыта редакционно-издательской работы, и это, в конечном счете, не могло не сказаться. Сборник вышел с опечатками и другими мелкими погрешностями, которые хотя и не портили сборника в целом, но все же были досадны. Их бесспорно не было бы, если бы Саше Морозову было разрешено, хотя бы в порядке добровольной инициативы, закончить работу над сборником.

Все же мы были рады, что сборник в конце концов вышел. А в том, что это произойдет, мы не были уверены до самых последних дней. Уже когда считывалась верстка, директор издательства (тогда это был некий Севастьянов) потребовал ее к себе. С замиранием сердца мы ждали директорского решения. Через пару дней он вернул верстку, разрешив печатать книгу, но с некоторыми изменениями. Требовалось изъять из уже набранной книги следующие материалы:

1. Элегию Рильке, посвященную Цветаевой.
2. Письмо Б.Л. Пастернака к Рильке.
3. Элегию Цветаевой "Новогоднее", написанную на смерть Рильке.
4. Последние параграфы из статьи К. Азадовского и Л. Черткова о русских встречах Рильке, озаглавленные: "Пастернак и Рильке" и "Цветаева и Рильке".

Таким образом, для директора оказался неприемлемым не Рильке, а Пастернак и Цветаева. Это было тем более нелепо, что в других издательствах в это время уже выходили сборники обоих поэтов. Директорский ход мыслей был, по-видимому, таков: зарезать весь сборник было для издательства невыгодно - это принесло бы слишком большой убыток (ведь 60% всех гонораров уже были выплачены). Но надо было сделать книгу возможно более невинной, для чего (по принципу "как бы чего не вышло") директор и приказал устранить имена, которые, как он помнил, еще недавно считались крамольными. А это были Пастернак и Цветаева.

Должен признаться (теперь это уже никому не повредит), что распоряжение директора мы выполнили лишь частично. Элегию Рильке мы оставили, сняв только посвящение (предоставив читателю догадываться - кто же это такая Марина, к которой обращается Рильке). Письмо Пастернака и "Новогоднее" пришлось убрать - тут уж мы ничего не смогли придумать. А в статье Азадовского и Черткова мы просто ужали два последних параграфа, убрав заголовки, но сохранив основную информацию. В таком виде книга и вышла в свет⁶⁹.

Книга имела успех. 50-тысячный тираж ее был распродан мгновенно. Она пробила лед, показав, что Рильке совсем не такой уж опасный автор и его можно безболезненно издавать. На книгу появились рецензии в западной прессе. Кстати, зарубежные рецензенты особое внимание обращали на первый параграф моей вступительной статьи, где доказывался тезис о близости Рильке советскому читателю. Этот

тезис, видимо, казался им очень парадоксальным (они плохо разбирались в нашей нехитрой дипломатии).

Если же говорить по существу, причина успеха книги заключалась, прежде всего, в ее интересном и разнообразном составе. В ее центре оказалось искусствоведческое эссе о Родене, блестяще переведенное В. Микушевичем, и богатая подборка писем, содержащая лучшие образцы эпистолярного наследия Рильке. Очень интересными были также материалы о русских связях Рильке, до того времени остававшиеся неизвестными нашему читателю. Что же касается поэтического раздела, то хотя он и содержал ряд стихотворений в прекрасных переводах Богатырева и Микушевича, в целом, все-таки, всестороннего представления о Рильке-поэте читатель, по моему, не получал. Для этого нужны были новые издания.

И они вскоре последовали. В 1974 г. в издательстве "Молодая гвардия" появился маленький сборник стихов, составленный Е. Витковским⁷⁰, а в 1976 г., в Гослитиздате, другой, более объемистый, содержащий много хороших переводов (составитель М. Рудницкий)⁷¹. В каждом из них появлялись новые Костины работы. Костя продолжал трудиться над "Новыми стихотворениями" - упорно, медленно, но постепенно ускоряя темп, ибо он поставил перед собой грандиозную задачу - завершить полный перевод обеих книг, носящих это заглавие. В последнее время, когда у него был заключен договор с издательством "Наука", Костя работал с максимальным напряжением. У него уже не хватало времени возвращаться к законченным переводам, доделывать и улучшать их, как он обычно делал раньше. Он откладывал эти доделки на то время, когда рукопись будет лежать в издательстве. Неоднократно читал он мне свои самые свежие переводы, и когда я указывал ему на неточности и шероховатости, он, как всегда, внимательно меня слушал и обещал внести необходимые исправления - только не сейчас, а после сдачи рукописи, в ходе редакционной подготовки. Увы! книга вышла через год после Костиной смерти. Просматривая ее, я заметил, что многое осталось неисправленным.

Но и в таком виде "Новые стихотворения" и "Новых стихотворений вторая часть" должны рассматриваться как грандиозный подвиг, нетленный памятник таланту и трудолюбию замечательного переводчика К.П. Богатырева.

После смерти отца, П.Г. Богатырева, Костя окончательно переселился в его квартиру на Красноармейской улице. Здесь он прожил свои последние годы - с матерью и второй женой, милой Леной Суриц. Мы оказались соседями, но, как это бывает в таких случаях, наши встречи не стали более частыми. Это ни в какой мере не было связано с состоянием наших отношений: они оставались столь же дружескими и теплыми, как и раньше. Просто мы стали старше и, может быть, инертнее (говорю это, прежде всего, о себе); кроме того, постоянная удручающая занятость, болезни, мелкие заботы мешали нормальному общению. Самое же главное: казалось, что впредь еще много-много времени.

Последняя моя встреча с Костей произошла во дворе, где он гулял со своей забавной, похожей на игрушечную собачкой (она возникла нивесть откуда и как-то прижилась у Богатыревых). Костя говорил о состоянии своей рукописи (которая уже была в издательстве), о своей переписке с Глебом Струве, о будущих планах. Закончив работу над "Новыми стихотворениями", он хотел обратиться к Траклю - другому большому немецкому поэту начала века, практически у нас неизвестному. Были и другие планы. И вдруг такой страшный, неожиданный конец.

Я часто бываю на Переделкинском кладбище. И если раньше я всегда шел прямо к могиле Б.Л. Пастернака, то теперь я сначала останавливаюсь на краю кладбища, у скромной могилы друга поэта, Кости Богатырева. Останавливаюсь все с тем же чувством - чувством боли, горечи и недоумения.

Кому нужна была Костина смерть? Кто бы ни был настоящий убийца, направивший руку, нанесшую смертельный удар Косте, удар этот оказался очень метким. Это не был удар по голове такого-то имярек человека. Это был удар по русской культуре нашего времени, одним из блестящих представителей которой был Костя Богатырев.

Всеволод Некрасов, Москва

Как Это бывает	Как Это было
Кто это нас так Убивает	Кто это его Так убил
Это Один Бог знает	А это знает один Бог знает кто
Спроси У Бога	Спроси у Кости Богатырева Покойного
Эта да Тайна	И это тайна Да Но это не та тайна

1978

Владимир Войнович, Москва-Мюнхен

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Уходя из жизни, человек приносит много горя родным и друзьям. Но проходит время, могила зарастает травой, горе становится горечью, а человек возвращается в нашу память живым.

Я уже плохо помню Костю Богатырева, каким он был в гробу, но хорошо помню, как он ходил, пил, ел, говорил, я помню его живым.

После смерти отца, переведшего на русский язык "Швейка"⁷², Костя жил на Красноармейской улице, в одном из домов писательского "гетто" вместе с матерью и женой. Был у них и четвертый член семьи - подобранный на улице фокстерьер Прошка, сумасшедший пес, который мирно сидел под столом, а потом мог ни с того, ни с сего с диким рычанием вцепиться друг в ногу кого-нибудь из гостей или даже хозяина.

Как у истинного интеллигента самым большим Костиным богатством была библиотека, которой он очень дорожил, которую любил показывать, но к которой не разрешал прикасаться. Особенно он берег большую немецкую энциклопедию, но прежде, чем показать ее гостю, говорил, что только из своих рук, а свои руки перед тем, как снять книгу с полки, мыл словно хирург перед операцией. Он был бессеребренник, и не дорожил ничем кроме книг.

Помню, однажды мне подарил кто-то и зачем-то какие-то философские книжки на немецком, кажется, Адорно и Маркузе. По-немецки я их читать не мог (да и по-русски вряд ли стал бы), поэтому, как только Костя появился у меня, я предложил эти книжки ему. Он взял их, по-моему с большей охотой, чем они того стоили, но тут же заколебался.

- Да, ты знаешь, но у меня таких книг, которые я могу подарить тебе, нет.

Ему было совершенно чуждо разъедающее многих, даже неплохих как будто людей, чувство зависти. Ему нравился "Чонкин"⁷³, и он, если попадалась статья в немецкой прессе, с удовольствием пере-

водил ее мне с листа и радовался, если там содержались похвалы автору, но он никогда не хвалил никакую книгу, если она ему не нравилась, даже, если автором был его друг. Когда вышла моя "Иванькиада", Костя был первым человеком, кому я подарил экземпляр. Даря свои книги выходящие за границей, я обычно ставил тем, кому дарил, неизменное условие: прочти сам и давай другим. Книг мало, в магазине их не купишь, я хотел, чтобы те несколько экземпляров, которые попадали в Москву, могло прочитать наибольшее количество людей. То же условие я попытался поставить и Косте. Не тут-то было.

- Нет, - сказал он, - я не могу видеть на своих книгах следы от чужих пальцев. Ты тогда мне лучше не дари. Подари кому-нибудь другому.

Я все-таки подарил ему, освободив его от всяких обязательств. На другой день он пришел ко мне очень взволнованный. Он нервничал, он вообще был человек нервный, он пережил Сухановку, пыточную тюрьму, пыток, которые там применялись, по некоторым свидетельствам не мог выдержать почти никто, но он выдержал... И так, он пришел ко мне. Я предложил ему водки. Он любил выпить, но купить бутылку водки не всегда было на что, а у меня в то время было на что, я с удовольствием его угощал, и он никогда не отказывался, но на этот раз сказал:

- Нет подожди, сначала я тебе кое-что скажу, а потом, если захочешь, выпьем. Мне "Иванькиада" не понравилась.

И стал долго, резко и последовательно говорить, чем именно не понравилась ему эта книжка.

Потом мы все-таки выпили и я сказал:

- Если тебе "Иванькиада"⁷⁴ не понравилась, может быть, ты все-таки будешь ее давать другим?

- Нет, - сказал он, глядя на меня виновато, - я не могу. Залапают.

Он очень любил застолье, споры о структурализме и структуралистах. Структуралистов или их противников (на всякий случай я прошу прощения у тех и у других) он называл говноедом и всегда у каждого пытался выяснить, что тот думает о структуралистах, любил застольные рассказы. У него был лагерный друг Гришка Агеев, который с потрясающими ужимками рассказывал бесчисленные свои по-

хождения до войны, во время нее и после. Потеряв перед войной отца, Гришка в начале войны попал в армию, потом в плен. Немцы спрашивали, кто он такой, кто родители.

- Я им отвечал: мать умерла, а отец изъят органами НКВД. Как мне говорили до войны: изъят органами НКВД, так я и немцам отвечал: изъят органами НКВД.

Немцы к нему присмотрелись: биография подходящая, общительный, умеет привлекать к себе людей, и решили сделать из него власовского "политрука". Агеева и его приятеля отправили в Кенигсберг, там дали каждому по комнате, дали всякую антисоветскую литературу, на которую он с удовольствием накинуся, дали денег и талоны в публичный дом. Так они жили как в раю, недели две, потом им и еще другим, привезенным отовсюду, устроили экзамен. У Агеева все шло хорошо, пока немецкий генерал, говорящий по-русски, не спросил, кто его любимый писатель.

- Маяковский, - бойко ответил Агеев.

- Маяковский? - переспросил генерал. - А какое именно произведение Маяковского вам больше всего нравится?

- Поэма "Владимир Ильич Ленин", - уверенно сказал Гришка.

- Скажите, а Достоевский вам нравится?

- Очень нравится.

- А какое произведение Достоевского нравится особенно?

- Роман "Что делать?"

На этом экзамен кончился, несостоявшегося "политрука" отправили назад в лагерь, по дороге он бежал, попал к бандеровцам, которые хотели его расстрелять, как советского москаля, бежал от них, попал к советским, которые чуть не расстреляли как бандеровца, опять бежал, попал в армию (советскую) затем его взяли в специальные войска по охранесталинской дачи на озере Рица (под Сочи).

- Там, - рассказывал Агеев, - проверка была ужасная. Все проверяли. Чтоб родители были не арестованы, не раскулачены, чтобы сам не был ни в плену, ни в оккупации. Очень строго проверяли, - подчеркивает он. И подмигивая добавляет: - Потому я туда и попал.

В этих спецвойсках он даром времени не терял, создал группу "истинных марксистов-ленинцев", ставившую своей целью "освободить народ от тирана", то есть убить Сталина. В группу вошли несколько человек, включая комсорга дивизии. Всех, конечно, арестовали, су-

дили, но поскольку дело было настоящее, а не выдуманное, начальство пыталось его не раздуть, а наоборот, всем участникам дали по двадцать пять лет. В лагере Агеев писал длинные стихи на самые дурацкие темы (например, пересказал в стихах содержание "Антидюринга")⁷⁵ несколько раз пытался бежать самым диковинным образом (то на воздушном шаре, то на подводной лодке, разумеется, са-модельной). Однажды защитил Костю от уголовника, который хотел пробить ему голову киркой. И все его рассказы, как уверял Костя, были чистой правдой. Он этого Агеева обожал, он выманивал его из какого-то города на Донбассе, где Агеев, уже немолодой и солидный на вид мужчина, работает инженером на шахте, водил по гостям, давал ему время, чтобы освоиться с обстановкой и захмелеть, а потом: - Ну давай, Гришка. Расскажи, как ты..." И пошло-поехало. И о чем бы ни рассказывал, об арестах, о допросах, о том, как на расстрел выводили, все смешно безумно.

Как-то уже после Костиной смерти пришел Гришка ко мне, я как Костя, созвал ради него компанию, ему, чтоб войти в раж, публика нужна обязательно. Начал он рассказывать, и жмурился и подмигивал, а не пошло.

Но и сам Костя рассказчик был великолепный и тоже обо всем рассказывал смешно, и его истории тоже были швейковские. Вот, к примеру, одна из них.

Однажды, уже в последние годы, пришла ему повестка из военкомата явиться тогда-то и туда-то для прохождения медицинской комиссии. Имея такую биографию, он ни от каких официальных органов ничего хорошего не ждал, а уж от военкомата тем более.. Забеспокоился Богатырев, что его заберут в армию (он всегда беспокоился), поехал советоваться к детскому писателю С. А С. известный псих со справкой. Однажды он решил поговорить с главным редактором издательства "Молодая гвардия". Пришел, узнал, что редактор на месте, позвонил по телефону, вызвал скорую психиатрическую помощь, зашел в кабинет и дал редактору по морде. Пока милицию вызывали, подоспела "скорая" и увезла С. не в милицию, а на Канатчикову дачу.

Так вот к этому С., как человеку бывалому, и обратился за советом Богатырев.

С. ухватил проблему с полуслова.

- Вот тебе мой совет, - сказал он. - Пойдешь в военкомат, возьми с собой большое блюдо. Ты придешь, они спросят: "Зачем блюдо?" Ты скажи: "А просто так."

- Совет неплохой, - рассказывал Костя мне, - но не могу же я в самом деле придти с блюдом. Пришел так. Все меня осмотрели - терапевты, хирурги - зовут к психиатру. Захожу, сидит такая пышная дама, я еще дверь не успел открыть, а она уже кричит: только не вздумайте строить из себя психа. А я, говорю, и не думаю. Она смягчилась: садитесь, на что жалуетесь? Ни на что не жалуясь. А почему у вас руки дрожат? А руки, говорю, у меня дрожат, потому что меня однажды приговорили к смертной казни. Вас? К смертной казни? За что? За террор, говорю. Что вы выдумываете? Какой еще террор? Террор, сказал я, это когда кто-нибудь кого-нибудь убивает. И вы кого-то убили? Нет, я только собирался убить Сталина. Она как услышала слово "Сталин", сразу притихла и стала что-то писать. А потом посмотрела на меня и спрашивает: - Значит, вы не хотите ехать на терсборы? - Терсборы-ы? - переспросил я в ужасе. - Это что же? Сборы террористов? Она посмотрела на меня, вздохнула и говорит: - Идите, вы свободны. Так я на терсборы и не попал. Потом я спросил кого-то, что это значит, мне объяснили: это значит территориальные сборы.

Эти заметки - всего лишь штрихи к портрету, полный портрет, возможно, будет нарисован сообща всеми, кто помнит Богатырева. Я ничего не сказал о Богатыреве-переводчике, о его переводах Рильке, сознавая, что другие скажут об этом более квалифицированно чем я.

1981

Александр Дворядкин, Донецк

БАЛЛАДА О ХУДОЖНИКЕ

К. Богатыреву

На страницах обычной сказки
Жил когда-то один художник.
Доброты дорогие краски
Разводил он в пургу и в дождик.

Но за то, что фальшивым цветом
Никогда не раскрасил лести,
В наказанье зимой и летом
Мерил горе со всеми вместе.

На пропитанном ложью "деле"
Рисовал золотую совесть.
Днем и ночью за ним глядели
Заключенные в бденье совы.

Рисовал на тоске-чужбине
Голубые мечты-рассветы.
За труды его больно били
и молва, и колючий ветер.

А взамен настроений алых,
Разноцветную слушал ругань.
Только подлость - и даже малую -
Не прощал никогда и другу.

Но однажды порой вечерней
Засекреченные кретины
Зачеркнули зловещей чернью
Недописанные картины.

Со страниц необычной сказки
 Уходил по цветам художник.
 Покрывая печалью краски,
 Тихо падал горячий дождик.

И не нужно вражде залетной
 Разукрашивать память болью.
 Дорогие свои полотна
 Он писал на сердцах любовью.

1953 - 1954, Воркута.

Несколько слов о предлагаемой балладе

Эта баллада написана в 1953 - 1954 годах зеком одного из воркутинских лагерей.

Солдат Александр Дворядкин (1926 год рождения) был осужден на 25 лет исправительно-трудовых лагерей за "измену родине" - за бегство из гауптвахты.

А. Дворядкин, подружившись в лагере с Константином Богатыревым, стал большим почитателем поэзии Бориса Пастернака, изредка сочинял и сам. Перед нами - одно из немногих его стихотворений.

Я воспринимаю б о л ь этой "Баллады" без "критицизма" профессионального литератора. Эта боль, на мой взгляд, выражена в "Балладе" с простотой и неопровержимой силой тех произведений, которые не хочется определять "литературно", с уважением переживая еще одно с в и д е т е л ь с т в о еще одной трагической судьбы (убеждающее нас, однако, безыскусной подлинностью с л о в а).

А боль за "художника", о котором говорится в стихотворении... Двадцать лет назад мне довелось увидеть три рисунка художника-зека, выполненных на четвертушках листка школьной тетради цветными карандашами. Впечатление от них было как от настоящих к а р т и н - импрессионистических пейзажей; все это было достигнуто несколькими карандашами, способом "неопределимым" (если исходить из по-

нятий "обычных условий"').

"Баллада" Александра Дворядкина напомнила мне и давнюю мою боль от этих "картин"-четвертушек. (Надеюсь, они сохранились у московского художника-коллекционера К.П., показавшего мне когда-то эти миниатюрные пейзажи).

Москва, 20 марта 1981

Геннадий Айги

Осип Черный, Москва

ПОВЕРХ ПРОЛОЖЕННЫХ ТРАСС

Мы, люди старшего поколения, хорошо помним, как на вершинах бескрайнего многословия цвели цветы одного тона; позже их сменяли другие, затем третьи... Менялись тона, но неизменной оставалась однотонность.

Думаю, теперь уже нелегко припомнить, как в некие давние времена девушки, выступавшие одна за другой, благодарили власть за счастливую жизнь. Все содержание их дней умещалось в этих словах. Приводились даже предметные признаки счастья, некие его атрибуты. И возникала картина почти ирреальная - колышущихся, подобно спелым колосьям, растений, клонящих книзу головки и воплощающих счастье поравненности.

Даром, что кругом было до крайности трудно, что жили бедно и скученно, что здоровые и нормальные люди, ни в чем решительно не повинные, истреблялись сотнями тысяч, а оно все же было; вернее, догмат его, объявленный неотменяемым.

Затем возникали другие догматы, и равнины бескрайнего многословия покрывались цветами иного тона. То это была необузданная радость труда (хотя самый труд оставался неэкономным, бестолковым и подчас несуразным), то взволнованность от прослушанной речи, то жажда что-то выполнить и перевыполнить, овладевавшая по мановению чьего-то жезла сердца миллионов.

Дело, думается мне, не в перечислении сменявшихся и становившихся в строй лозунгов. Важнее, что они, подобно лесу знамен на демонстрации, воплощали представительный внешний облик реальности.

Мне пришлось высказывать уже мысль о том, что наряду с реальностью подлинной, подававшей осмыслению с великим трудом, возникала в т о р а я, м н и м а я объявленных, хотя и мифических ценностей.

Да и сейчас, несмотря на многие перемены в жизни, мы существуем по-прежнему в двух разноплоскостных измерениях: одно постигается в трудном и повседневном опыте, второе представляет собой цель мнимостей, звучащих в статьях, речах и по радио, в театре, кино и книгах, — они повторяются постоянно и требуют безусловного их приятия. Это символика мнимостей.

Все, что укладывается в нее, называется особым советским образом жизни. То же, что уложиться никак не может, есть не только отход от него, но и прямой вызов ему.

Так что попасть в число отщепенцев, антисоветчиков крайне просто. Достаточно, разбираясь в реальности подлинной, дать ч е м у — л и б о определение, которое разошлось бы с символической мнимой реальности. Вы скажете "кисло" там, где должны были сказать "сладко", или "сомнительно" там, где все признано было несомненным, и вам грозит попасть в число отщепенцев.

Если проследить, как менялась символика нашего общества, окажется, что одно оставалось в ней неизменным: фразеология, обязательность словоупотребления, то есть выдвинутых обществом для охраны его скрытой сути мотивировок.

Итак, принудительность мысли при утверждении, будто ей дозволены любые взлеты и виражи, есть нечто постоянное, выражающее механизм нашей авторитарности.

В условиях полной нетерпимости по отношению к независимой мысли, единственным результатом этого могло быть лишь о б е з м ы с л и в а н и е общества.

Не раз казалось, что небывалый опыт массовой унификации сознания принес свой горестный результат.

Но наряду с миром предвидимого существует сфера того, что ввести в единое русло невозможно. Именно она, вопреки всем усилиям, порождала сильные и оригинальные отклонения.

Разумеется, с ними нужно было бороться: само их существование подтачивало великий принцип авторитарности.

Даже при беглом взгляде на минувшие десятилетия мы видим, что борьба с индивидуальным и частностным наложила на наше общество отпечаток трагизма. Хотя ему надлежало исповедывать оптимизм: шумно радоваться достигнутому и, не довольствуясь этим, стремиться все дальше к вершинам единомыслия.

Между тем, в условиях невоскресшей глухой трагедии, формировались личности яркие, мыслители необыкновенные и поэты гениальные. Не те, разумеется, к лацканам пиджаков которых пристегивались значки славы и доблести послушания, а те, кто с мученическим крестом ходил по земле и обречен был на гибель.

Я не стану перечислять всех, раздавленных прессом мнимой реальности. Синодик этот огромен. Но алогичность нашей жизни состояло в том, что личность, которую режим погубил, позже, после того, как акция истребления была завершена, вследствие неумолимой всплывной силы правды становились в ряды представителей общества, выразителей его духа, совести, чести, его, наконец, г е н и я.

Есенин, Платонов, Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Ахматова... Да надо ли продолжать?! Надо ли вспоминать, что те, кого выдавали при жизни за носителей подлого прошлого, сегодня, с противоположным знаком оценки, стали в ряд истинных сыновей народа. А разве Рахманинова, Шаляпина, Бунина не клеймили?! И многие еще ждут того дня, когда из числа отверженных по праву станут в ряды вознесенных.

Этот, возможно, сбивчивый поток размышлений я позволяю себе предпослать мысли, которая представляется мне чрезвычайно важной. Под единой воинской формой и выправкой страны, при том, что она расправляется с любым суждением, отличным от священной символики авторитарности, скрыта духовная жизнь высокого накала. Никаким силам террора и зла не справиться с нею. Быть может, в этом источник истинной нашей гордости. Не в количестве ракет, самолетов и танков корни ее, а в коллективной и личной мысли, возрождающейся на развалинах расстрелянного индивидуализма.

И вот пример, один из ярчайших для меня за последние годы.

Константин Богатырев, еще совсем молодым приговоренный к расстрелу, затем милостиво помещенный в лагеря истребления сроком на 25 лет, а позже, в пору, когда наверху ненадолго одумались и, казалось, кое-что поняли, возвращенный к нормальной жизни. Здоровье его подорвано, нервная система приведена в состояние, которое люди иного мира вряд ли в силах представить себе, но которое составляет печальный удел сотен тысяч интеллигентных людей.

Но я набрасываю не картину общества, а пытаюсь воссоздать портрет незаурядного человека.

Итак, речь о трагической личности? о бессмысленно исковерканной жизни?

Но нет: когда Костя впервые меня посетил, у меня в итоге короткого разговора осталось ощущение душевной легкости, восприимчивости и, если хотите, изящной мысли.

Как, какими усилиями воли и духа можно, кроша ломом промерзший грунт дальнего севера, удерживать в себе возникающие идеи и образы и, ощущая рождение стиха, лелеять не смутный портрет поэта, а скорее образ самой поэзии? Как можно было ощущать в себе наплывы добросердечия, рожденного искусством и способного проникать во все? Не знаю. Это остается одним из секретов страдания.

Над вами повис пресс истребления, вы уголовник, потому что в чем-то разошлись с догмой; вы действовали не в интересах истины (что даже не нуждается в доказательствах), а против системы; но вы не ее оппонент, а зауряднейший антисоветчик, почти наверняка подкупленный иностранной разведкой. Эти обвинения, почти не нуждающиеся в доказательствах, пришиты к вам накрепко и из гражданина превратили вас в уголовника из числа самых презренных. Естественно, вас отдадут на истребление уголовникам настоящим, которые всего только грабили и убивали, но не смели посягать на догму. В то же время, по воле судеб, вы мыслитель кристальнейшей чистоты или поэт высокого напряжения.

Случай предоставлял мне несколько раз возможность общения с такими уголовниками, несшими в своем сердце идеализм чистейшего класса.

И вот, повторяю, в мою жизнь вошел человек поразительной деликатности, легкости, наделенный счастливой способностью шутить, иронизировать и веселиться. И это был тот, кого по апокрифам современного язычества приговорили к расстрелу за попытку взорвать Кремль! Да он и взрывчатки никогда в руках не держал, из пистолета никогда не стрелял!

Достаточно было двух-трех встреч, чтобы я неопровержимо понял, что передо мной человек глубоко одаренный, с умом живым и пытливым, со склонностью к юмору, парадоксам, с изяществом определений, которые не всегда давались ему прямо в руки, но которые он упорно искал и почти всегда находил.

Несколько позже случилось так, что интерес Кости к встречам успел обратиться в потребность. Мне повезло необыкновенно: Костя стал у нас завсегдаем. А я получил возможность наслаждаться общением с человеком незаурядным, непрерывно создающим что-то свое, любящим или осуждающим, готовым преклоняться или отвергать, но не по чьей-то указке, а лишь повинуюсь собственным чувствам, способным породить в нем симпатию, привязанность, осуждение или отвращение. Тут никто и ничто не имели власти над ним.

Я не заблуждался: в числе друзей Кости Богатырева я был далеко не единственный. Удивительно, до чего тянулись к нему сколько-нибудь склонные к своеобразию, тонкости, поэтичности, юмору разные люди. Куда бы он ни пришел, он вносил с собой искрящийся ум, веселость и какое-то светлое ощущение, накладывавшее отпечаток на все.

Жизнь кажется нам ужасной или, наоборот, приемлемой зависимо от того, что принять за единицу отсчета.

В начале нашей эры, при полном отсутствии элементарных благ обилии доносчиков и доносов, она именовалась счастливой. Затем появился Солженицын, представивший нам еще более микроскопический вариант счастья маленького лагерного человека, радующегося добитой правдами и неправдами дополнительной порции водянистого супа. Позже мне довелось прочитать абсолютно достоверные записки смелого честного человека, и я понял, что повесть "Один день Ивана Денисовича" это лишь облегченный слепок не жуткой реальности, а смягченного ее варианта, несущего в себе добросердечие полной подчиненности.

Но ведь Константин Богатырев провел свои годы не в облегченном и все же потрясшем совесть человечества мире Ивана Денисовича, а в мире жесточайших страданий, где уголовники, приходя в состояние иступленности, прибивали гвоздями к нарам самые чувствительные части своего тела, чтобы найти хоть какой-либо выход сознанию обреченности.

Из этого ада вернулся не вконец раздавленный человек, потерявший себя. Общаясь с Костей, я радовался и удивлялся блестящей работе ума, меткости словесных находок, а, главное, полнодуховной свободе, с какою выявлял себя подаренный мне судьбою новый друг.

Он был моложе меня намного, но я не припомню случая, чтобы он дал мне почувствовать эту разницу в возрасте. Нам с ним было очень легко общаться. Говорили ли мы о Бунине, Достоевском или современной прозе, о Томасе или Клаусе Манне, символизме, музыке, так называемом "позорном" русском десятилетии (кстати, принесшем поразительный взлет искусства), о романе Пастернака, современных нравах, невротизме века... Да нет, этот перечень не может всего исчерпать! Словом, чего бы мы ни касались, нам было чрезвычайно мило почти всякий раз убеждаться, что держимся мы одного берега, плывем мимо одних и тех же полных завлекательной прелести мест.

Иногда Костя принимался корить себя:

- Ах, у меня совершенно не осталось памяти, я все растерял в лагере!

И вскоре давал несомненные доказательства обратного: он помнил великое множество деталей, подробностей, неприметных частностей даже в тех областях, где априорное преимущество оставляло за мной.

Не знаю, всем ли из тех, кто причтет эту запись, довелось слышать по радио полный ума, очарования и тонкости очерк об Эрихе Кестнер⁷⁶, большом немецком писателе, написанный Богатыревым. Помню, прослушав его, я сказал Косте, что ему надо было бы сесть за прозу, мыслительную, эссеистскую, где его ждали бы точные попадания и, возможно, открытия.

- Это с моей-то памятью?! Да что вы?!

И, как истый невротик, стоял на своем.

Однако в одну из следующих встреч поделился планами написать о Томасе Манне. Оказывается, когда после ужаса лагерей он вернулся в университет, то, кончая его, избрал дипломной темой Манновскую "Лотту из Веймара". Тут он нашел много своего - открытия, смелые сопоставления, целый свод остроумных догадок о том, как каждый из персонажей получает пародийное отражение в другом. Это звучало весьма интересно и современно. Поколение формалистов, к которому принадлежал когда-то отец Кости, крупный ученый, оставило свои метины в сознании молодежи. Но истинно даровитые взяли с собой в путь далеко не все из того, чем увлекались в свое время формалисты. Пригодилось немного, кое-что: на место игры вещей пришла полная артистизма игра идей.

Когда я посоветовал Косте, не теряя времени, поскорее приниматься за дело, он схватился за голову.

- Да, но Рильке, Рильке!

Поэзия Рильке владела им на протяжении многих лет. Вряд ли кто другой из наших поэтов сделал так много для включения философски глубокого мира Райнер Мария Рильке в наш литературный обиход, как Константин Богатырев.

С моей стороны было бы слишком упрощенным пытаться представить его труд, как итог одного только вдохновения. При жестокой выскательности к себе он проводил немало мучительных дней в поисках упругой, наполненной формы очередного стихотворения. Иные давались легче, других требовали упорных, почти страдальческих поисков. От такой работы он уставал, приходил иной раз в отчаяние.

- Я, кажется, никогда не выберусь из этого! - говорил он, хватаясь за голову.

Но не отступал ни за что и поблажек себе не давал.

И, конечно, это был поэт чистой воды.

К тому времени, когда появятся эти записи, выйдет, надо надеяться, в свет книга "Новых стихов" Рильке в переводе Богатырева. Теперь, когда работа далеко позади, должно признать безоговорочно: в нее вложен огромный самоотверженный труд, полный высокого подчас исступленного вдохновения, достойный истинного поэта божьей милостью.

Наверно, это наиболее уплотненное и цельное из всего, что успел сделать Константин Богатырев. Но сделано не так мало, совсем немало для человека, прошедшего безумный стремительный путь от приговора к расстрелу до блистательных переводов Рильке.

Притом, восстанавливая в своей памяти образ Кости, я вижу не только поэта, поглощенного целиком своим творчеством. Передо мною встает человек духовно свободный, влюбленный в жизнь, равно любимый и Пастернаком, и Генрихом Беллем, и датскими молодыми писателями, и американскими исследователями, и теми, с кем он делил в лагере горе и редкие радости.

Ему звонили из Англии, ФРГ, США, он переписывался с десятками людей примечательных, выдающихся, поглощенных той или иной проблемой искусства. Он, общаясь с теми, кому верил и кого любил, не знал, что такое опасливый прищур бдительности. Он представлял со-

бой один из тех счастливых центров духовного притяжения, энергия и свет которого несравненно сильнее того, что делается и предпринимается в данный момент. Планы, намерения, обязательства, обещания - все клубилось вокруг. Богатырев искренно и горячо радовался истинным достижениям и победам художников, людей мысли и слова, где бы эти победы ни были одержаны.

Вместе с тем, невротик, реагирующий на симптомы почти неуловимые, он остро чувствовал, что, со своим ощущением внутренне свободного человека, он, в определенных условиях, приходится не ко двору. Тень слежки шагала за ним, не отставая от него ни на шаг.

Мы, люди востока, для которых традиции запада, его укоренившийся демократизм, при многих изъянах и недостатках, представляется утраченным раем человеческого достоинства, издалека, из глубин нашего молчания, наблюдаем, как запад в нашем духовном диссидентстве выхватывает отдельные броские случаи: что-то подписали, против чего-то высказались со смелой прямоотой. Разумеется, это важно, не отрицаю. Но за пределами этого остается необозримая сфера личной свободы, которую каждый формирует в себе, пестует в глубинах молчания.

Костя Богатырев был одним из тех, кто по свойствам своей натуры, живя в постоянном безденежье, нуждаясь, перебиваясь кое-как, вместе с тем ощущал себя внутренне независимым. Не демонстрируя на площадях, редко участвуя в разного рода коллективных протестах, он нес в себе слишком опасный заряд духовной свободы.

Уже сдав свои переводы Рильке в издательство, он появлялся у нас не столько удовлетворенный, сколько ощущающий, что вокруг накапливаются какие-то странные испарения.

Когда я спрашивал, почему он не дает себе заслуженного им отдыха, он говорил:

- Не знаю, но что-то мне сильно не нравится?

- Что? Где?

- Повсюду, везде...

- Так не лучше ли вам заняться чем-нибудь?

- Я уже занялся: изучаю историю древней Греции.

Я понял это так, что он сел за солидный труд внимательно и, допустим, с карандашом. Нет!

- При моей-то памяти?! Я учу, заучиваю почти наизусть, но нес-

сколько страниц в день. Задаю себе урок и с утра сажусь за работу... Ах, я ужасно устал!

Ну мог ли нервный художник, соединявший в себе вдохновение с педантизмом, независимость с невротизмом, светлое чувство, которое он распространял вокруг себя, с предчувствием чего-то неотвратимого, что надвигается на него, - мог ли он чувствовать себя уверенно и спокойно?!

В циничные нормы нашей бдительности он не укладывался никак. Все его существо противостояло им. И потому, не делая ничего вредного, а одно лишь полезное, освещенное умом и талантом, он представлял собой нечто, несовместное с духом обступавшей его жизни. Притом, выражал ее в том высшем очищенном виде, в каком она медленно и неуклонно образует себя. Подобно маяку, он показывал, в какую сторону надлежит двигаться тем, кто сумел сбросить с себя ярмо страха, унаследованного от эпохи террора.

Страх этот неодолим? Ярмо подчиненности неустранимо? А вот Константин Богатырев встречал и провожал тех, кто был ему душевно мил и дорог независимо от того, самолет какой линии доставлял их в Москву. Он звонил, слал телеграммы, отвечал на письма. Он сознавал себя гражданином мира, который знает цену труду, вносимому им в общечеловеческое дело сближения.

Да, тут был рискованный элемент той полной душевной раскованности, которую он и не пытался упрятать в удобный мешочек.

У Богатырева не отключили телефон: перешагнув через несколько ступеней, его хладнокровно убили.

Но след, проложенный бесконечно талантливым человеком, воспоминания, живущие в нас, могущественнее и прочнее тех преград, которыми пытаются оградить нас от потока стремительной жизни.

Константин Богатырев убит, и все же продолжает жить с нами, для нас и во имя нас.

И вновь и вновь я задаю вопрос: выигрывает ли что-либо система, приводящая в исполнение свои несправедливые и циничные, способные якобы кого-то предостеречь приговора? Как бесконечно много она теряет и как ничтожно мало приобретает взамен!

Д. Вардаш

К.П. Богатыреву

О таинство последнее Творца!
Неуловимый миг познания мира.
Казалось жизнь и смерть НЕОТДЕЛИМЫ
И слиты воедино до конца
В С Е Л Е Н Н О Й ...

Смерть наступила на изломе дня -
В неясный миг свиданья дня и ночи.
Когда уже светло,
Пока еще багрянит
П о с л е д н и м и лучами облака.

лето 1978 года

В. Кончеев, Москва

КОНСТАНТИНОПОЛЬ

"Навсегда останется в памяти почитателей..."

1

Какие глупости. Навсегда останется в памяти немногих голос, готовый снова звучать по первому требованию, голос невысокий, богатый модуляциями, заполнявший иногда гулкие камеры великолепного, великолепного носа; и когда Богатырев читал вслух стихи (или, это особенно замечательно, одну только строчку), звук заполнял пространство, за верхней крупной губой. В этой декламации мелодия доминировала, мелодия следовала своим правилам, сообщая благородный, то есть серьезный, законный и настоящий смысл даже вполне слабым и вне этого чтения не заслуживающим доверия стихам. Особенностью этой мелодии было обязательное повышение предпоследней стопы, бугорок на тропинке перед поворотом. О другой первостепенной черте экспрессии Богатырева, об аккомпанементе кистевых жестов, мы скажем когда-нибудь потом и иначе.

2

Однако, для всякого лирика обязательна серия мучительных операций по перестройке органов чувств и выраженья, прежде всего зрения и артикуляции (см. например подробный отчет об одной такой операции в "Пророке" Пушкина, или следующую мысль Пастернака: "Хотя Юра кончал по общей терапии, глаз он знал с доскональностью будущего окулиста. В этом интересе к физиологии зрения сказались другие стороны Юриной природы, - его творческие задатки и его размышления о существе художественного образа и строении логической идеи"⁷⁷). Это переделка была необходима для Богатырева так же, как и для Рильке, поэзию которого он пятнадцать лет сочинял по-русски.

Но для такой работы недостаточно просто подвергнуться обычной для поэтов радикальной перестройке органов; это лишь неизбежное предварительное условие. Нужно еще подобрать верные стекла, корректирующие твою рядовую родовую лирическую дальновидность так, чтобы она точно соответствовала значению и персональным особенностям дальнзоркости интерпретируемого тобой поэта. Это не всегда удобно для интерпретатора: часто утомительно и, как правило, трудно. И нужно долго упражняться в новом произношении. И для того, чтобы все эти невероятно изощренные, для непосвященного невообразимые даже отдаленно приготовления не пропали даром, для того, чтобы чужезычные образы городских положений, подробностей профиля девушки, непростых отношений с Творцом, тайн конца и вступления, ионической волюты, рисунка сплошного дождя, обломка античной статуи, глухого, но зрячего одиночества, стремительных облаков, четырех сезонов и измерений, цветной страсти, ночной тоски и, главное, того, чего нельзя не только назвать, но и описать, но во что безусловно погружена лирика Рильке, - для того, чтобы образы эти, говорим мы, оставаясь в шитой специально для них одежде иносказаний и сопоставлений, вне которой они испаряются, выдыхаются, исчезают, - чтобы эти образы задышали, ожили, заговорили в условиях другого языка - требуется мастерство артиста.

Богатырев был первым и остается единственным интерпретатором Рильке по-русски: во-первых, в силу сказанного, во-вторых, потому что он один и первым взялся за принципиально правильное и единственно оправданное изложение русского Рильке: он "перевел" *Книгу*, двойную книгу стихов. Всякий серьезный знаток хорошо понимает, что Рильке принадлежит к сравнительно малочисленному кругу поэтов, которые не сочиняли стихов *par excellence*, но которые создавали автономные циклы лирических сюжетов, разворачивавшиеся под недробным творческим импульсом на всем пространстве книги, а не на пятачке стихотворения, становившегося в этом (лучшем!) случае

членом гармонично сложенного тела или длинной лирической формулы. Книга, крупная форма, стоянка образов, вселенная, имеющая начала и конец, пол и потолок, пол и имя, - книга и только она есть лирическая единица поэзии Рильке.

5

Повторим: Рильке - автор романа в прозе и нескольких стихотворных. И когда Ахматова говорила Богатыреву "Вы делаете это лучше Бориса", то она не ошибалась, ибо Пастернак *этого* и не делал вовсе (за вычетом юношеских опытов в тетрадке с университетскими конспектами Юма он переложил несколько стихотворений - главным образом для иллюстрации некоторых своих характеристик) из-за совершенно особого, огромного внелитературного значения, которое заключалось для него в имени Рильке. Богатырев *это* сделал. И он потому, быть может, не сочинял оригинальных стихов, что имя Пастернака не умещалось в небольшом космосе человеческого искусства, как он его понимал, но стало его, Богатырева, мистерией. И, может быть, поэтому он предпочел партию второго голоса, но в таком трио, и так чисто и искусно ее вел, что теперь именно три этих имени, три голоса этих станут чьей-нибудь пожизненной и невыразимой тайной.

6

Отчего мы так старательно, умышленно, так откровенно избегаем слов переводчик, перевел, перевод? Оттого, что они, как и многие другие ни в чем неповинные и честные слова опозорены нечестным и небрежным употреблением. На самом деле, перевод на другой язык картин, содержащихся в стихотворении отличается от перевода картинок с одной бумаги на другую только тем, что "переводчик" (без эскорта кавычек эти несчастные в порядочное общество не допускаются из-за опасности недоразумений) сам изготавливает клише переходного черновика; а затем следует обычная процедура. Вспомним: бледное клише надо увлажнить, ровно наложить на тетрадный лист, разглядывать (под пальцами побегут мокрые змейки) к краям и осторожно, осторожно начать стягивать прямо на глазах мертвеющую основу, обнажая ослепительно сочную, всякий раз опять неожиданно

яркую верхушку башни и край синевы, и они растут, и вот уж показался горизонт, и сейчас выплывут зубцы коричневой крепостной стены, и надо все время преодолевать острое желание одним движением открыть остальное. И сколько нужно терпения и умения, чтобы не порвать, не сморщить, не сдвинуть задуманное кем-то, бледное и невыразительное на переходной ступени, живое и дрожащее красками и пахнущее влагой чудо! А потом, когда можно выбросить ставшую пустой и косной материнскую кожуру, надо еще ждать, пока новорожденная картинка обсохнет и станет неуязвимой, и на линованном листе уляжется под прессом мокрый бугор.

7

Так или почти обстоит дело с переводом. Так или приблизительно переводил Богатырев картины "Новых Стихотворений": Так переводить теперь не модно. Потому что этот способ требует кроме прочего массы времени и особой аккуратности (Богатырев занимался *Neue Gedichte* не меньше пятнадцати лет суммарно, и только последнюю порцию второй книги делал быстро, в течение полугода, подгоняемый условиями договора с издательством, и, как стало теперь ясно, с известным Автором, Который в эти же месяцы спешно дописывал последние страницы Своей повести о Богатыреве) и не обещает немедленного и бесспорного триумфа. Богатырев начал своего Рильке тогда, когда нынешние его секуляризаторы доводили до сведения масс последние достижения оптимистически настроенных штукатуров из той части Германии, которая к ним географически ближе. Рильке в то время легко и счастливо избегал их внимания. Белая книжечка Т.Сильман⁷⁸, напечатавшей в ней стихи под псевдонимом Рильке, осталась незамеченной. Теперь не то; теперь "великий, мы не боимся этого слова, поэт XX столетия...", "один из крупнейших" и "ставший уже классиком" разобран по частям самыми предприимчивыми и остроумными переводчиками (мы не боимся тут этого слова) XIX столетия, которые перевели, сначала для пробы, несколько "знаменитых образцов". Успех оказался чрезвычайным. Но тут надо заметить, что всякий хоть несколько одаренный и искушенный человек

обречен на успех у простаков, коль скоро он использует Рильке в качестве оригинала своих упражнений. На любой бумаге под любыми самыми нетерпеливыми руками все равно появятся красочные и свежие картинки. Правда, на картинках этих обломки башен выйдут вперемежку с небесными клочками, а почему-то морщинистая девушка получится с ногами голенастой птицы и вдобавок окажется запертой в звериной клетке; правда, неполучившиеся части дорисованы от руки, а выступающие обрезаны, - но нужды нет: в целом все это очень глубокомысленно, как орнамент на премиальных гужах, и действительно ярко. И бедная, одураченная, не знающая по-немецки публика не догадывается, что ярко это оттого, что Рильке пользовался замечательными и долговечными красками; что природа его искусства такова, что ее не может вполне опровергнуть самый старательный ремесленник; что яркость - последний, неприступный ее оплот; и что если в этих "переводах" и остается что-то настоящее, сильное и живое от оригинала - так это несмотря на и минуя преграды, расставляемые посредниками. Это - заслуга Рильке, а не их удача, не их, которые выщипали весь изюм из его пирога и делают вид, что никакого пирога и нет, а есть только этот сушеный виноград, остальное же - неинтересный, пресный хлеб умствования и религиозной несдержанности, не заслуживающий внимания "широкого читателя" (тут они правы). Но это - неприличие. Пирог надо резать; недопустимо его ковырять; и резать можно не всем, но избранным для этого.

8

Богатырев был избран. Его дар был счастливо воспитан несчастливыми, говоря красно, и нечеловечески страшными, говоря правду, обстоятельствами: в мерзной духоте, на жестком ложе с давно высчитанным числом трещин вокруг сучка в доске нар над головой и со свисающей из щели лапшой соломы, которую видел вчера и век тому назад, и завтра, и потом, и всегда, пока не стукнет пятьдесят, то есть до самой смерти, потому что двадцатипятилетний термин каторги, равный прожитой к его началу жизни по человеческому разумению дольше вечности и дальше бесконечности.

Но надо вернуться на выбранную для этих заметок дорогу. Мы говорили о даре. Но, по словам Вячеслава Иванова, о даре в обществе артистов говорить незачем: он разумеется как условие, вне которого просто ни о чем серьезном не может идти речь и остается только острить, сплетничать, пожимать плечами и хмуриться. Не в одаренности дело, но в искусстве, которое в ней коренясь, из нее вырастая и ей доверяя раздваивает жизнь живого человека, делая его скрытым, ибо ему есть что скрывать, и, *per contra*, в иных случаях, в случае Богатырева, - предоставляя ему защиту от назойливых вторжений в виде соблазнительной и обманчивой доступности, то есть общительности. Большинство знакомых Богатырева, сидя у него в гостиной, воображали (-ют), что они в его кабинете; он не разуверял их. Он поддерживал их в этом заблуждении. Он умел беречь свое одиночество, или, что то же, здоровье своего искусства, а может быть и нечто поважнее этого.

Что сделал он? И заметим непременно, что вопрос этот куда скромней, приватней, второстепенней другого - что скрывал он - которым мы, быть может, озаглавим когда-нибудь другие заметки, где заменим академическое местоимение более удобным и обязывающим. Итак, что он сделал после того, как ему было позволено оставшиеся у него еще двадцать лет провести не на каторге, а - как бы это сказать - не знаю, дома, что ли.

Если ограничиться главным, то есть оставить в стороне его занятия Т. Манном, Кестнером, Траклем etc., то останется почти готовое двуглавое строение сложной и прекрасной архитектуры, с неубранными опустевшими лесами вокруг одной из башен. И этот кремль - *едикственное* здание в городке русского Рильке, городке, который называется именем Богатырева. Оно, это здание, возвышается среди строительного мусора, заложенный другими и брошенными третьими фундаментами, обломками колонн, отделанных ворот без забора, кровель без стен, колоколов без колоколен и разбросанных там и сям лепных украшений без применения, и по этому странному, унылому городу, почти призраку, ходят нищие, сюда прибывают толпы и

сразу хватаются за брошенные предшественниками начинания и скоро бросают их как и те, и, разумеется, о, разумеется, там промывают под шумок разбойники и бродячие фокусники.

11

И одни делают вид, что никакого здания вообще нет, другие находят его неуклюжим и только временно, за отсутствием более подходящего жилья считают его приемлемым, третьи полагают, что оно всего лишь одно из многих тамошних начинаний. Между тем, правда в том, что независимо от того, будет ли издана книга Рильке-Богатырева, то есть будет ли официально открыт свободный доступ внутрь этого дома, - уже теперь, и теперь уж навсегда, пять или шесть человек хорошо знают, что строитель

Пять-шесть душ заставил плакать

Над тоской души чужой,

а это все, это почти тахішт, о котором может мечтать настоящий лирик и настоящий его сотрудник, потому что лирическая поэзия строго элитарна, и хотя вход может быть открыт для всех, приглашены только избранные.

Почему не повторить? Богатырев был избран (какая жестокая связка!) и в то время, как многие его сограждане переводили бумагу, он, пользуясь выражением одного частного письма из Москвы в Петербург, "перевел Рильке в безраздельное ведение судьбы".

Июль 1976

П о с л е с л о в и е

Заметки, озаглавленные "Константинополь" и подписанные В. Концевым, были набросаны наспех через месяц после смерти Богатырева, отчасти из-за неотвязной потребности удержать этим обыкновенным способом живой портрет умершего друга, отчасти же вследствие досадного сознания вялой, но упрямой и косной несправедливости, которая отказывает ему, даже после смерти, в настоящем признании того, что он сделал и кто был. Первое я попробовал хотя бы назвать в этой старой статье; о втором я хочу коротко сказать теперь.

Богатырев не был "диссидентом" в теперешнем понимании слова (он любил вспоминать о том, что Пушкин использовал это словцо дважды и иначе, нежели теперь принято). Политика занимала его постольку, поскольку она является ежедневной диетой всякого пленника, понимающего, чем отличается застенок от воли. Он в с е г д а, и это редко бывает, ненавидел первый и всей душой любил последнюю, которую видал только в ранней молодости и к которой постоянно рвался. У него никогда не было никаких заблуждений или сомнений в этом главном пункте; он не знал периодов "очарований" и "разочарований", так подробно и гордо описываемых современными чемпионами политических исповедей (периоды эти обыкновенно совпадают с временами фальшивых или мелких перемен во внутреннем распорядке полицейского государства - прежний директор был, оказывается, вор, поэтому отныне разрешается гулять по крепостному валу и печатать с п о р н ы е статьи о Сартре, Камю, и других прогрессивных писателях в местном органе "Крепостная Жизнь"). У него никогда не "открывались глаза", потому что он никогда и не закрывал их глупой куриной пленкой. В своей последней статье (напечатанной в сотрудничестве с Генри Глэйдом в США) он, на примере смехотворного, но в высшей степени характерного "перевода" романа Белля поденной советской работницей, впервые показал это прямо потрясающее явление, рабское добровольное сотрудничество наемного советского писателя и советской цензуры, причем эта последняя оказывается более снисходительной и во всяком случае менее разборчивой и последовательной, чем автоцензура бдительного и благоразумного автора. И как примечательно, что за эту статью его серьезно, до ссоры, бранили некоторые из его якобы вольнодумных знакомцев (я знаю их по именам и не называю по причинам важным не для меня, а для читателей).

Почему не сказать? Богатырев был один из совсем немногих (вряд ли наберется и десяток) с в о б о д н ы х людей в Советской России, не прокаженных неволей; и я бы утверждал, сняв смягчительные рессоры, на которых покачивается всякая письменная речь, что он был там и вовсе единственным внутренне вольным, независимым интеллектуально человеком, не доведись мне знать о существовании еще двух, одного жившего на б. б. Мещанской в Москве (ныне покойного), и второго, обитающего совсем в другом месте.

1981

Геннадий Барабтарло,
Урбана Иллинойская, США

Лев Копелев, Москва-Кёльн

СЛОВОПОКЛОННИК

Когда Костя Богатырев читал стихи или говорил о поэзии, он преображался. Резко прочерченные, нервные черты лица смягчались, разглаживались. Казалось, он становился выше ростом, шире в плечах и голос звучал сильнее, глубже...

Он мог часами наизусть читать стихи Пастернака и Рильке. О них, о поэзии Геннадия Айги и Иосифа Бродского, он говорил как внимательный искушенный исследователь-словесник, и как безоглядно влюбленный юноша. Оппонент, не способный понять их достоинств или враждебный его любимым поэтам, вызывал у Кости презрительную неприязнь. Его отношение к литературе, к поэзии было чрезвычайно личным, страстным и пристрастным. Неточность, неряшливость слов, недобросовестный перевод иноязычного стихотворения или прозы оскорбляли его как личная обида. Бездарность и невежество могли возбудить ярость.

Он бывал несправедливо суров к произведениям, к литераторам, "несозвучным" его художественным идеалам. Считая "Доктор Живаго" самым лучшим русским романом XX века, он многие другие, по моему значительные, даже не менее значительные книги русских авторов, оценивал незаслуженно низко. Восприятие иностранной литературы было шире: он любил Рильке и Брехта, Белля и Клауса Манна. Просторный диапазон его вкусов в суждениях о немецких, английских, французских авторах и крайняя взискательность к соотечественникам меня по-началу удивляли. Мы спорили; я честил Костю снобом эстетом, а он меня - всеядным дилетантом. Но со временем я убедился, что эта мнимая непоследовательность выражает именно творческую, художническую жизнь в слове. Ведь даже Гете, который сердито отвергал произведения Гельдерлина, Клейста, Гофмана, сурово осуждал немецких романтиков и просто "не заметил" Гейне, в то же самое время с удовольствием читал, полюбил Байрона, Манцони, Вальтер Скотта и многих других романтиков иностранных.

Костя был истово, религиозно верен русскому слову. И непримирим - иногда сектантски непримирим к тем, в ком видел отступников и осквернителей. Его суждения бывали односторонними, злыми, но мыслил он всегда отважно, независимо от авторитетов, безразлично к модам. Иногда умел восхититься и талантом того, чьих взглядов не разделял.

Фанатичный библиофил, он ревниво берег свои книги, не позволял даже прикасаться к ним. Но щедро одаривал книгами друзей. И на моих полках стоят подаренные им Шопенгауер, Кестнер, Тухольский... Вижу насмешливую, косоватую улыбку, слышу чуть гортанный голос.

- Ты просто варвар, если этого не понимаешь. Книга - как женщина. Ее нельзя делить и с лучшим другом. Если отдавать, то навсегда.

Он был поэтом, знатоком поэзии, мастером художественного перевода - *просвещенным словопоклонником*. Однако никогда не замыкался в мире "звуков чистых", не укрывался в книжных бастионах, ни от радостей, ни от горестей жизни. Общество друзей он любил не только в серьезных беседах; был неутомим и за бутылкой "чего покрепче" и в самой шумной разноголосице. Подвыпив, распевал старые русские романсы, немецкие шлягеры, - и мы дивились его памяти и артистизму, - лихо танцевал, ухаживал за дамами.

Но всегда и везде, - за рабочим столом, в борении с трудным, таинственным словом, в кругу семьи или веселых друзей, - Костя внятно сознавал свою причастность к трагическим судьбам России.

У него не было ни склонности, ни амбиции общественного деятеля, трибуна или проповедника. Но острое чувство справедливости, беспокойная совесть и не показная, скорее даже потаенная, верность друзьям побуждали его безоглядно вступаться за гонимых, преследуемых, несправедливо осужденных.

Юношей в годы сталинщины, он побывал в застенках страшной Сухановской тюрьмы, где пытали "особо опасных", и в камере смертников. Шесть недель он ждал расстрела. Смертный приговор заменили 25-ю годами заключения в каторжном лагере...

Память обо всем этом жила в нем неотступно, неусыпно, порождая кошмарные сны и мучительные бессонницы, прорываясь и в часы безмятежного веселья.

Но вопреки жестокой памяти, вопреки неотвратимому страху и просто здравому смыслу, Костя не мог молчать, когда судили Синявского и Даниеля, когда изгнали Солженицына, когда исключили из Союза писателей Владимира Войновича. Он не мог мирно сосуществовать с ложью и несправедливостью в жизни, также как не мог стерпеть фальшивой строчки в стихе, не прощал самодовольного или блудливого невежества в разговорах о литературе.

Горько, что лишь после гибели Кости мы стали понимать, какая добрая энергия в нем таилась, как много хорошего он принес в нашу жизнь. И мог бы еще принести...

**СТАТЬИ И СТИХИ ДРУЗЕЙ И ПОЧИТАТЕЛЕЙ
ИЗ ЗАГРАНИЦЫ**

ЗАПОЗДАЛОЕ ПИСЬМО К ДРУГУ

Дорогой Костя,

это письмо тебя не достигнет. Я должен был написать раньше, когда ты еще жил на земле. Но и тогда оно до тебя не дошло бы, Российская цензура его бы перехватила. Ну, а теперь - возможно, возможно - оно тебя все-таки достигнет.

Помнишь ты еще, тогда, в 1962-ом году в Ленинграде - Жан Поль Сартр, Мадам Бовуар, Константин Федин, Илья Эренбург - длинный список выдающихся имен на международном конгрессе писателей. И там же ты, Костя Богатырев, наш переводчик. Энценсбергера и меня ожидали, как делегацию из Федеративной Республики Германии. Уж по правде - делегации! Нас было двое. Но едва только мы высадились в Ленинграде из самолета, как ты уже сказал нам на твоём хорошем, чистом немецком языке, как это важно, быть делегацией в Советском Союзе.

На следующий день, это было воскресенье, мы с тобой шли по берегу Невы. Мы разговаривали так, вообще, потому что все для нас было еще ново. Ни Энценсбергер, ни я еще никогда не были в России. И вдруг произошло нечто для нас очень странное. Ты остановился и не долго раздумывая сел на скамейку.

"Я против", сказал ты.

Я и сегодня скажу: редко меня что-то так изумило, как эта фраза. Что это значило? Был ты провокатор, хотел нас перехитрить - или же это было признание, нечто, чего мы не могли так скоро ожидать в этой громадной, жуткой и для нас совсем неизвестной стране? Конечно, нас это ошеломило - но затем мы узнали от тебя кое-что из твоей жизни в Советском Союзе, о годах в Сталинских лагерях, о твоем процессе, об освобождении при Хрущеве. Ну да, мы знали кое-что о событиях в Советском Союзе: Московские процессы, методы Сталина - ведь 22-ой Съезд партии уже состоялся. Но все-таки многого мы еще не знали: интриги, клевету, темную, грязную войну секретных отделений в непроходимом лесу советских параграфов; жизнь в лагерях вместе с уголовниками, всю систему Гулага, которую Солженицын десять лет спустя сделал известной в Западной Европе. Его книга "Один день Ивана Денисовича" тогда как раз вышла, но мы и

о Солженицыне почти ничего не знали.

Мы стали друзьями. Ганс Магнус Энценсбергер исчез. Мы лишь редко виделись с ним. Он полетел с делегацией на Черное море, чтобы быть там принят Хрущевым. Ты и я, мы остались одни. Вот тогда ты мне сделал близкой Россию, ту Россию, которую ты любил. Однажды ты мне начал в одном парке цитировать русскую лирику: одно стихотворение за другим, с глубокой серьезностью и с тем пафосом, какой находишь только в Советском Союзе.

Я конечно ничего не понял, но ритм стихов мне нравился, то множество темных гласных, как водопад низвергавшееся от тебя... Иногда ты казался мне каким-то превосходящим всех остальных русским германистом, оторванным от немецкой литературы. Таким, как Лев Копелев и несколько других. (...)

Но вот пришел день разлуки. И этот для меня незабываем, как все, что связано с тобой. Уже настали холодá, это был конец октября - начало ноября, падал легкий снег, и Кисткин стоял перед аэродромом, смотрел на снежную вьюгу и говорил, как всегда: "Все в порядке".

Но для тебя ничто не было в порядке. Мы уезжали, а ты оставался там. Ты не мог уехать туда, куда бы хотелось, а теперь даже и не в Среднюю Азию. Конечно, ты не был больше в лагере, как прежде, целые шесть лет, но ты все еще был в плену. Не разу еще я не ощутил это так сильно, как на аэродроме. Тебе нельзя было с нами вместе подойти к самолету, нет, ты стоял на краю аэродрома, и слезы текли тебе из глаз, и ты все повторял: "Возьми меня с собой, возьми меня".

Я не мог тебя взять, но если бы это было возможно, то вероятно все бы получилось по иному, и наши поездки, и наши постоянные беседы - и может быть ты бы тогда и совсем не захотел бы поехать вместе с нами.

Но напрасно размышлять теперь об этом, теперь мне остается лишь воспоминание, и за него я тебя благодарю.

Твой
Ганс Вернер Рихтер
Мюнхен

С немецкого перевела Галина Беркенкоф

Роман Якобсон, Кембридж, Массачусеттс

С ПЕРВЫХ ДО ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

Мы долго делили с верными друзьями Богатыревыми, Петром Григорьевичем и Тamarой Юльевной, просторную пражскую квартиру, и мне полвека слишком спустя все еще ярко слышится пронзительный, по временам отдающий музыкой крик, которым обильно оглашал ее распахистые стены новорожденный Константин Петрович. Именно об этих неустанных младенческих всхлипах я писал тогда с пражской Штросмаеровой площади в Москву Борису Ярхо, одинаково вдумчивому и непосредственному и в амплуа филолога-публициста, и в сатирических отступлениях давнепровансальской закваски. Затем почтой шла дружеская беседа про дословесный крик и про выросшую из него всамделишную речь, про все в ней свое и правое, вспоенное освободительным криком, даром животворного дерева.

Неповторимо личное всю жизнь сплеталось в Константине с родовыми корнями. В раннем детстве, на руках у матери он покинул Прагу для Москвы, и хотя он долгие годы не видал своего отца, задержанного в Чехословакии продолжительной работой, Костя освоил и с редкой верностью удержал чрезвычайно характерный рельеф отцовской жестикюляции и ритмико-интонационного склада, а из собственного инфантильного мирка Костя на свой весь век сохранил затейливые лады своего первичного крика.

Нелегко вчитаться в горластую семантику еще бессловесного человеческого существа, и даже нашего московского гостя Владимира Маяковского передергивало, когда в комнату вбегал малыш Богатырев, как я записал в посмертной памятке 1930 года, между тем как оба вещуна, такой малый Костя и "такой большой" Володя, именно возглашали в единомысленной правоте "я свое, земное, не дожил".

Увлеченный мастер стихотворного перевода, Константин Петрович гостеприимно вскрывает соотечественникам двери мирового поэтического восприятия. Русский Рильке был одним из замечательных от-

крытий пожизненного искателя. Нелегко связать с этим радужным тезисом незыблемый антитезис: многоликий враг отвечал ему бесчеловечным мучительством. Каким безликим силам было предопределено предать вдохновенного почитателя стихов Рильке, Айги и Пастернака, на поочередное растерзание в ловушках второй мировой, потом в столичных палаческих казематах и в лагерных бараках и наконец в анонимной развязке на площадке домашнего лифта?

1981

Фридерике Казак, Мух

УЗНАВ ПОЧЕМУ

Покойному другу

*Быть может, прежде губ уже родился шепот
И в бездревесности кружились листья,
И те, кому мы посвящаем отцы,
До отцов приобрели черты.*

*Осип Манделштам
Январь 1934, Москва*

Только что я закончила перевод стихов Геннадия Айги, написанных в 1965-79 гг., в честь Тебя и в память о Тебе. Их скоро сдадут в набор для немецкого издания сборника посвященного Тебе. И они обретут свою, отдельную жизнь так, будто и не жили во мне почти девять месяцев - такой долгий, такой короткий, такой знаменательный срок. Трудны были последние часы. Труднее многих предыдущих. Часы, исполненные все более напряженным ожиданием того, что будет и что уже давно есть, что стало образом, еще прежде, чем мы его распознали. И если бы я не ощущала Твоего согласия оттуда, из тех сфер, где созревало творение, я бы еще больше сомневалась в жизнеспособности того, что сотворяла. Но все же еще осталась глубокая тревога, и я спрашиваю, что же оно такое, это создание моих слов: - новое рождение того, что уже было, запоздалый близнец или только единокровный брат?

Ты, строгий судья и вечный друг русской и немецкой поэзии, ты сейчас уже знаешь ответ. Геннадий Айги и я, и все мы - блудные сыновья и дочери, скитающиеся по свету, еще ничего не ведая, либо едва прозревая, мы это узнаем лишь когда уже найден начало жизни новой - Твоей жизни.

Я не знаю, приходилось ли Тебе, столько лет переводя стихи, задуматься когда-нибудь над тем, что это сравнимо с зарождением и становлением человека. Но сейчас я чувствую, эта мысль близка Тебе. Разве и дитя и стих (и любое иное создание литературы) не олицетворяют дух ставший зримым? И, разве поэт не глядит на стихотворение, созданное его словами точь в точь, как мать на рож-

денное ею дитя: в сознании несовершенности, восхищаясь совершенством, и: зная о слабости плоти, доверяя силе в ней воплощенного духа?

Если мы, оба переводчики, задумаемся над тем, в чем же сущность совершенного перевода, то, по-моему, неизбежно вскоре начнем размышлять о сущности второго рождения - перевоплощения духа. Ведь бывают же такие счастливые мгновения, когда обретаешь слова для мысли, высказанной на другом языке, обретаешь с такой уверенностью, что уже не допускаешь сомнений, с уверенностью непостижимой, неземной. Раньше плоды таких озарений я воспринимала как своего рода слова-близнецы. Но после всего, чему я у Тебя и вместе с Тобой научилась, я вижу в них второе рождение, перевоплощение духа стихов. На пути к новообретаемой форме, стихотворение высвобождается из своей оболочки из прежней словесной плоти, освобождается и очищается, чтобы, вновь рождаясь из того же духа, с душой, по новому наполненной, стать снова стихом, узнавая по чему.

От Тебя и о Тебе я многое узнала за долгие месяцы работы над книгой, Тебе посвященной и, переводя стихи для нее. Снова и снова читала я *Твоего* Рильке - те стихи, которые ты переводил и многие другие. И внезапно я увидела его перевод из Андре Жида "Возвращение блудного сына"; увидела последнюю строку. Вспомнил ли Ты ее - эту строку, когда Тебя *одним ударом* бросило к другой жизни? "*Берегись последних ступеней...*" Задолго до смерти Ты перевел стихотворение Рильке "Уход блудного сына". О чем Ты думал тогда, переводя эти слова:

уйти: зачем? Но в этом суть порыва
надежды смутной и нетерпеливой,
что недомыслием порождена:

Тогда, переводя, одолевал ли Ты только слово, только ли плоть языка или в Тебя проникало и нечто от духа этих слов? Предчувствовал ли Ты, каким будет Твой уход? А, если тогда все это было еще таким далеким, то вспоминал ли Ты в последние недели умирания другие строки, которые шли вслед за теми:

Тащить всю тяжесть бытия земного
и выронить в растерянности, чтоб
сойти в уединении горьком в гроб -
и это ли начало жизни новой?

И это ли начало жизни новой? Долго ли тревожил Тебя этот воп-

рос, прежде чем Ты узнал то, о чем написал Геннадий Айги после Твоего погребения:

"Но я хорошо помню, как во время похорон Кости я невероятно - необъяснимо - всеохватывающе - ярко знал, что человек (личность) не умирает."

И Ты умирал, узнав почему.

*Перевели с немецкого Раиса Орлова-Копелева
и Лев Копелев, которые и выбрали эпиграф.*

Феликс Филипп Ингольд, С. - Галлен

СЕКУНДНАЯ ВСПЫШКА - слепящий образ
белого - взрыв при пробуждении
предпоследнего действия - мы
не узнаем никоим образом:

возвращался ли он
с покупками или вернулся
от женщины домой, задушен ли
был голос ударами сапога - и сам он избит
до потери образа: так

был ослеплен и повержен:

мгновение: "я жив!" - и - тщетно
- "кто узнает?" - и обрыв, и провал -
провал в черноту безымянного склепа - провал -
падение в беспмятство:

украдкой
переведенные строфы из Дуино останутся
как тени прежних лет, день в день
и в дни грядущих дней - строфы Дуино:

леденящее сияние холода.

С немецкого перевела Елизавета Мнацаканова

Генри Глейд, Северный Манчестер/Индиана

КОНСТАНТИН БОГАТЫРЕВ

В декабре 1973 года, лишь во время своей пятой поездки в Советский Союз, я познакомился с Константином Богатыревым. Думаю, мне давно пора было это сделать. Генрих Бёльль тоже торопил меня и послал со мной, как повод для знакомства, "Gesammelte Schriften für Erwachsene" (Собрание сочинений для взрослых) Эриха Кестнера. Свел же нас потом непосредственно Лев Копелев. И как же могло быть иначе! Я не могу себе представить, чтобы человек с Запада мог проникнуть в избранные круги русской интеллигенции без искусного содействия Льва. Его квартира была местом встреч тех, с кем стоило бы познакомиться в СССР, а если удавалось, - мне в этот раз повезло - можно было спокойно поговорить обо всем и с ним самим.

Так зашла речь о русском переводе "Группового портрета с дамой" Генриха Бёлля, сделанном Л. Черной и напечатанном в 1973 году в "Новом мире", в номерах 2-6. По мнению Е.-У.Фромм⁷⁹, в переводе были значительные редакторские изменения, и я хотел знать, так ли это. Лев отослал меня к Косте.

Вступить с Костей в разговор было легко. Подкупала его душевная искренность и открытость по отношению к собеседнику. Он вынес свой экземпляр упомянутого журнала, снабженный пометками и подчеркиваниями, и раскрыл его. Прежде чем сделать детальный разбор, он высказал свою точку зрения о Генрихе Бёлле и его "Групповом портрете". Это было сделано спокойно, ненавязчиво: его всегда влекло к сравнению с Пастернаком (в данном случае "Групповой портрет" с "Доктором Живаго"), и, безусловно, мало кто из поэтов и писателей выдержал бы это сравнение.

Я хотел бы назвать Костю религиозным и литературным диссидентом. Этим также объясняется его оценка Генриха Бёлля. При всем его глубоком уважении к личности Бёлля и к его работам, он все-

таки должен был добросовестно отметить уменьшение поэтико-метафизического элемента в пользу общественно-политического. Причем, Костя сразу же шел на уступки, и как-то приписал этот бёллевский "тенор" общественным обстоятельствам.

Всю свою литературную деятельность Костя понимал как верность Слову и Истине, свои переводы он также поставил на службу "истине, благу, красоте". Как переводчик, он ощущал себя воссоздателем, который раскрывает и комментирует оригинал со своей собственной точки зрения: "переводчик имеет право видеть в переводимых им стихах даже то, чего не видит в них сам автор ..."⁸⁰. Его верность к истине каждый раз подвергалась испытанию, когда издательства настойчиво предлагали ему переводы прозы. Чаще всего это случилось с прозой ГДР, которая противоречила его понятиям о литературе. Насколько я знаю, кроме "Мальчика из спичечной коробки"⁸¹ Кестнера и романа "Мефистофель"⁸² Клауса Манна (вместе с его женой Е. Суриц), он сделал лишь несколько менее важных переводов прозы на русский язык.

Причиной тому, что Костя с несказанным терпением и тщательностью филолога произвел проверку русского варианта "Группового портрета", была его страстная любовь к истине. Его возмущение исходило из грубейших искажений смысла в переводе и из снижения бёллевского стиля до безформенной речевой массы, проникнутой вульгаризмами и разговорными выражениями. Надо сказать, что падение стилового уровня вызвало изумление в кругах русских читателей Бёлля. И читатели, не владеющие немецким языком, захотели узнать, что же все-таки с Бёллем случилось.

В декабре 1974 года я снова был в Москве. Костя был глубоко разочарован моей нерасположенностью занять какую-либо позицию в этом деле. Я высказал ему свои опасения, сослался на возможные для него последствия. Вероятно, я думал и о последствиях для себя самого (без сомнения, менее неприятных). Костя настаивал. Его русская решимость победил мои прагматичные опасения. И по возвращении из Москвы я принялся за работу. Рукопись я переслал (надежными каналами) Косте на экспертизу. В ответ получил телеграмму: "Наш групповой портрет мне нравится..." Когда в мае 1976 года статья об искаженной русской редакции романа появилась в печати⁸³, Костя уже лежал в больнице.

Костя склонил меня к Истине. Я вспоминаю о нем с благодарностью, с любовью, с печалью.

С немецкого перевел Евгений Терновский

Анджела Ливингстон, Колчестер

ПЕРЕВОДЧИК ПОЭЗИИ РИЛЬКЕ

С глубоким прискорбием пишу о кончине Константина Богатырева, замечательного друга и прекрасного переводчика поэзии, который был летом сего года убит в Москве. Когда я приезжала в этот город, мне всегда очень хотелось увидеть Костино лицо. Хотя и зачастую озабоченное и встревоженное, оно нередко внезапно прояснялось от радости, словно Костя всегда ожидал и находил подходящие вещи, интересные мысли, добрых людей. Он обладал свойственным только ему нетерпением. Не успев открыть дверь своей квартиры, он хватал и обнимал желанного гостя. Любой посетитель угощался бутылкой коньяка, которая выпивалась с невероятной скоростью. Непринужденно оживленному, порой взволнованному продолжению нашего, как бы непрерывного диалога о книгах, о литературе и переводах - его собственных и других -, о жизни в Москве, о жизни в полицейском государстве, о поэтах и остальных людях - об их чувствах, мыслях и поступках - никогда не предшествовал лишний разговор на поверхностные темы.

Лицо его было незаурядное - и мясистое и худое, и строгое и ласковое, с глубокими морщинами и отпечатками, наложенными больше, чем одной жизнью; нежное, но не такое, как лица без выразительных черт. Наоборот, напряженность жизни и обилие чувств сильно отразились в нем: это живое, взволнованное лицо передавало то ласку, то восторг, то отчаяние, то скорбное презрение или бесконечное благородство. Общаться с Костей было всегда очень приятно. Все было своеобразно, ново, оригинально, ничего не придумывалось заранее. И всегда - душевная теплота, живой ум, интерес и уверенность, что все это очень важно.

Руки Кости дрожали, когда он жестикулировал или разливал чай; иногда дрожал и его голос; тогда казалось, будто бы он весь испытывал внутреннюю дрожь. Костя был арестован в возрасте двадцати

шести лет, обвинен в "террористических намерениях", присужден к смертной казни, которую заменили двадцатипятилетним заключением в лагере строгого режима, и освобожден через пять лет. Он посвятил себя литературе; стал другом Бориса Пастернака, был знаком с Анной Ахматовой и другими уже пожилыми представителями этого замечательного поколения поэзии. Сам он приобрел известность блестящего переводчика с немецкого языка. В частности, он переводил произведения Эриха Кестнера и Райнера Мария Рильке. В прошлом году, когда мы встречались по поводу его пятидесятилетия, он как раз заканчивал работу над полным переводом "Neue Gedichte" (Новые стихотворения) Рильке.

Мне хочется сказать кое-что об этих переводах, из которых уже несколько появилось в свет, и которые должны быть в скором времени полностью опубликованы в Москве⁸⁴. Они представляют собой явление, которое редко находит себе равных среди английских переводов зарубежной поэзии. Большинство английской переводной поэзии либо верно воспроизводит рифму, размер и смысловое содержание стихотворений, лишив их поэтичности, либо передает их поэтическое очарование, пренебрегая звучанием и внешней формой подлинника. Но эти русские переводы Рильке, сохраняя и размер, и строфическое членение и даже труднодостижимую схему рифм за счет незначительного пропуска слов и утраты некоторых значений, являются в то же время прекрасными стихотворениями.

Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt,
 darin die Augenäpfel reiften. Aber
 sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber,
 in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt,
 sich hält und glänzt.

Нам головы не довелось узнать,
 в которой яблоки глазные зрели
 но торс, как канделябр, горит доселе
 накалом взгляда, убранного вспять, вовнутрь.

В переводе имеются изменения: опущено слово "unerhört" (неслышанный); интенсивнее выделен "накал"; добавлено слово "вовнутрь". Но эти изменения оправданы в смысловом и музыкальном отношении. Выбор слова "unerhört" у Рильке основан по крайней мере отчасти на

фонетической перекличке выразительного "h", длинного гласного и конечного "t" со словом "Haupt". Эта искусная звукопись передана на русском языке на том же месте с помощью согласных "в", "л" и тщательного подбора ударных и безударных "о" в словах "голова" и "довелось". Слово "канделябр" на немецком языке обозначало в начале столетия уличный фонарь, который горел и при меньшей подаче газа; так как на русском языке оно такого значения не имеет, то несколько затруднительное приглушение света свеч необходимо изобразить более наглядно, чему и содействует добавление слова "накал"; к тому же иностранное слово "канделябр", перекликаясь гласными "а" и "я" с исконно славянскими словами "накал", "взгляд", "вспять", приобретает в данном контексте русское звучание. Слово "вовнутрь" имеет две подобные функции: оно вносит нужное объяснение для понимания смысла стихотворения, а для его звукового восприятия пополняет ряд слов с нагромождением согласных, как например "убранного" и "вспять", подчеркивая характерную для русского языка насыщенность согласными, составляющую контраст к типичному для немецкого языка, или для Рильке, накоплению гласных в словах "Augen", "Schauen", "geschraubt". Все эти изменения внесены с проникновением и с чувством меры.

В стихотворении "Archaischer Torso Apollos" (Архаический торс Аполлона), помещенном в начале второй части "Новых стихотворений" Рильке, сказано, что зрение, которое было сосредоточено (или которое наблюдатель мог представить себе) в глазных яблоках статуи и которое продолжает свое существование без головы (что теперь необходимо представить себе), перешло во все остальные части тела. Статуя бога настолько исполнена жизнью, что ее взгляд ощущим в изгибах груди, извилинах бедер, в свете, исходящем как бы из всего торса, ослепительно сверкающего звездой. Создается впечатление, что статуя действительно "видит". Стихотворение неожиданно заканчивается наставляющим, или же наоборот, приводящим читателя в замешательство коротким предложением: "Du mußt dein Leben ändern" (Ты должен изменить образ своей жизни). Но тут же можно спросить: почему? Потому что тебя видели несуществующие глаза, потому что когда ты смотрел на великое живое произведение искусства, оно в то же время смотрело на тебя? Но все же - почему? Русский перевод имеет слегка другую концовку. В нем, как и в немецком подлиннике, сперва говорится, что если бы зрение бога не перешло

во все части торса, то он "не сиял бы сквозь все свои изломы звездой" (я привожу эту цитату с целью продемонстрировать, какое сильное впечатление производит внутренняя перекличка согласных "с" и "з"), а затем следует: "... высветив твои глубины до дна. Ты жить обязан по-иному."

Русский перевод завершается тем же поучительным предложением. Но там, где ему в подлиннике предшествует "denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht" (и нет точки, которая тебя не видит), мы находим "... высветив твои глубины до дна". Хотя здесь в сущности сказано то же самое, мы скорее задумываемся над тем, что происходит с наблюдателем, чем каково влияние статуи на него. Таким образом читатель подготовлен услышать фразу "Ты жить обязан по-иному" и может истолковать ее, исходя из предложенного ему соображения, что тот, кто созерцает искусство, становится в то же время предметом наблюдения, выставляемым в полном свете. Являясь предметом зоркого наблюдения, мы чувствуем в себе перемену, что и приводит к неизбежному изменению образа нашей жизни.

Так же как и в стихотворении, переложенном на музыку, и в удачном переводе нередко сглажено многообразие возможных значений, утрачены ассоциативные представления и некоторая двусмысленность, так как в любом отношении переводчик (или композитор) выбирает и усиливает одно из этих значений, один ряд возможных ассоциаций, отождествляясь с ними. Добавляя свою собственную музыку и обогащая перевод собственной интерпретацией, поэт-переводчик тем самым возмещает утраченные качества другого языка, воспринимаемого сквозь призму своей личности. Именно на таких поясняющих местах легче всего уловить ход мыслей Константина Богатырева во время работы. Я провела анализ последней строки, обобщив приведенное стихотворение, чтобы подчеркнуть обессмертившую имя переводчика способность воспринимать и передавать мысли в сходстве с видением мира Рильке. Русские читатели должны быть обязаны ему, в последнюю очередь и за то, что он раскрыл перед ними мир тончайших взглядов и идей не просто в рамках переходящих интеллектуальных понятий, а в форме долговечных стихотворений.

Часто говорят, что русские любят поэзию более естественно, чистосердечно и искренне, чем мы. Несомненно, когда русские читают стихи вслух, или точнее говоря, бесконечно долго декламиру-

ют их по памяти, всю аудиторию охватывает заразительный восторг от волшебной напевности стихотворений, с которыми я ни разу не встретила при чтении английской поэзии. Ритмы, рифмы, окончания строк - всю эту звуковую сторону стихотворений уважают и любят, стихи практически поют, вдумываясь одновременно в их смысл. К сожалению, у нас нет возможности привести примеры музыкальности переводов Константина Богатырева. Но мне бы хотелось коснуться поразительно удачного подражания "Römische Fontäne" (Римские фонтаны), где почти одиноковые как и у Рильке образы и синтаксис воссоздают согласно подлиннику удивительно красивое соотношение между чашами фонтана: из верхней вода льется, как поток слов, в среднюю, которая отражает небо и листву ввысь, в то время как поверхность на краях разбивается каплями о нижний водоем. И эти "переходы" ("Übergänge" с двойным значением и на русском и на немецком языках) оживляют фонтан улыбкой. Мне бы хотелось еще упомянуть блестящие переводы стихотворений, посвященных различным местам, как например "Der Platz" (Площадь), "In einem fremden Park" (В чужом парке), "Quai du Rosaire", которые содержат строки, свидетельствующие о том, что переводчик воспринимал и действительность и язык с присущей Пастернаку широтой и пронизательностью.

Стихотворение "Der Gefangene" (Узник) приобретает для нас, все еще глубоко потрясенных ужасной смертью переводчика, новую своеобразность и силу. В нем Рильке (чтобы опять передать в общих чертах его содержание) говорит - предположим, что мир (небо, воздух и свет) превратился бы в камень, и вы бы продолжали жить в нем, с вашим "будущим", превращающимся в гнойные раны и с вашим прошлым, становящимся смехом сумасшедшего; предположим далее, что Бог, став надзирателем, заткнул бы глазок своим грязным глазом. Вместо "предположим, все это могло бы случиться" Богатырев говорит (в силу своих соображений и своего языка) "это случится". Представь себе, что и небо, и воздух и свет, которые *теперь* вокруг, станут камнем... с тобой заживо внутри, и "на место Бога станет надзиратель, и грязным глазом он заткнет глазок." И в этих строках снова удачно использован характерный для русского языка перевес согласных.

По словам очевидца лицо Кости в гробу выглядело ужасно измученным, наподобие средневекового "memento mori". Трудно избавиться от представления, что он лежал в гробу, его сознание заточено в каменном мире, - и он знал все, что случилось. По словам его друзей он все это "предвидел" и предсказал, что "следующая очередь за ним". Лена, его вдова, написала почти словами Рильке, что он умер "своей смертью".

У Кости было много друзей, и его очень любили. Он был известен как человек, который всегда готов выступить открыто, без страха в защиту правды и людей, невинно обвиненных или лишенных прав за то, что они свободно высказывали или писали свое мнение. Он принимал зарубежных гостей так, как будто иностранцы не представляли собой ничего страшного. Он говорил то, что думал, не насилая себя умственно. Неужели из-за этого он стал жертвой физического насилия? Так думают многие его знакомые, особенно когда утверждают, что у него не было личных врагов. Кто же это мог быть, кто решил подкараулить его несколькими этажами выше на темной лестничной площадке дома (в одном из огромных, массивных, старомодных кварталов на Красноармейской улице), чтобы броситься на него, когда он возвращался домой с покупками, проломить ему череп большим металлическим предметом и оставить его лежать в крови до прихода его пожилой матери? Это произошло в конце апреля. Он пролежал два месяца, большей частью без памяти, в больнице, где после того, как его перевели из центра интенсивной терапии в стационар, ухудшилось его состояние и где он умер 18 июня.

С английского перевела Александра Вейсванге

Пауль Вэд, Копенгаген

ПОЭТ И КОМИК

Смерть Константина Богатырева, бессмысленная и преждевременная, оборвала жизнь, посвященную поэзии, интеллектуальной и нравственной честности. Это жертва человечества тому насилию, которое наряду с угнетением, презрением к человеку, расизмом, социальными бедствиями и опустошающей идеологией заявляет о себе чуть ли не повсюду в мире в эти жестокие годы.

Елена Суриц-Богатырева переводила произведения современных датских литераторов. Она впервые познакомила датчан с Костей, и это знакомство переросло в бесценную дружбу, наложившую неизгладимую печать на нашу жизнь. Для поэтов и гуманистов, встречавшихся с ним, Костя сыграл немаловажную роль благодаря своей страстности и своему бесстрашию: он был воплощенным стремлением к духовной свободе.

Чтобы понять, насколько сильно было впечатление, производимое Костей на нас, приехавших из Дании, необходимо знать, что у датских писателей, и датских интеллигентов не было буквально никакого контакта с той частью русской интеллигенции, представителем которой был Костя. Почти все контакты осуществлялись на официальном уровне, со всеми проистекающими из этого последствиями. Ни один датский автор, поскольку мне известно, не поддерживал никаких личных связей с представителями других течений советской литературы и духовной жизни, кроме официальных. (В научно-академических кругах, однако, бывали исключения из этого правила.) Поэтому встреча с Костей произвела на маленькую группу датских писателей впечатление едва ли не удара: это было нечто освобождающее, вызывающее, тревожащее.

После реабилитации вступив в Союз советских писателей Костя получил нечто вроде официального признания, но тем не менее не стал впоследствии конформистом по отношению к обществу, в кото-

ром жил. Его любовь к стихам, к поэзии, его вера в духовную свободу как неотъемлемую предпосылку существования, достойного звания Человека, его полное неумение и нежелание приспособляться - все это превратило его в могучий источник, излучающий свет, волшебную силу, обаяние. Таким мы его помним. Но мы понимали также, что он тем самым занял небезопасную позицию - полностью осознавая возможные последствия.

Мне довелось заглянуть в его творческую мастерскую, когда он работал над тем, что должно было стать трудом всей его жизни - над переводами "Новых стихотворений" Рильке. Так как я не знаю русского языка (все наши беседы велись на немецком), я не берусь судить о его переводах. Тем не менее его работа над этими текстами произвела на меня глубокое впечатление.

Сильно увлекавшись в молодости Рильке, я хорошо запомнил его сонет "L'Ange du Méridien" (из "Новых стихотворений"). Однажды вечером (это было в мае 1973-го года) я прочитал его наизусть и спросил Костю, как этот сонет звучит по-русски. Он откинулся назад, закрыл глаза и начал полновзвучным голосом читать свой русский перевод. Создаваемая звуковая картина невольно вызвала чувство, будто бы текст Рильке заново рождался в процессе облечения его в звуковую оболочку другого языка; и процесс этот происходил интенсивно.

После этого Костя прокомментировал одно из важнейших мест этого стихотворения: скачок в ритме, происходящий вследствие того, что первая строка второй строфы начинается с ударного слога. Затем он изложил свои соображения по поводу той логики, которую считал основным признаком поэзии Рильке: образы в стихотворениях Рильке всегда - выражение внутренней, закономерной необходимости. В этой закономерности он усматривал черту, коренным образом отличающую стихотворения Рильке от стихов, скажем, Брехта. Это и есть итог опыта, накопленного в течение его долгой переводческой практики. Проникновение в сущность стихотворений Рильке научило его видеть в этой закономерности основной структурный элемент поэзии Рильке, причем переводчику необходимо постигнуть эту логику в каждом стихотворении.

Однако, предметом наших разговоров была не только поэзия.

Костя говорил откровенно, не считаясь с тем, что его могут подслушивать посторонние. Он раз и навсегда решил быть абсолютно искренним - и я думаю, что искренность нужна была ему для того, чтобы сохранить чувство внутренней свободы, ибо это чувство было самой основой его существования. Поэтому он почти никогда не скрывал своих взглядов по отношению к советскому обществу. Он как будто говорил: им обо мне все известно - зачем же мне притворяться?

Он часто вспоминал о войне; как-то мы застали у него одного украинца, друга лагерных времен: "он три раза спас мне жизнь", рассказывал Костя. Вообще он не говорил о годах, проведенных в лагерях, но однажды, когда мы с ним гуляли, он сказал: "Ты же читал "В круге первом" Солженицына - помнишь описание ареста? Все там совершенно точно - ничего не добавлено, не изменено, не пропущено. Если что-то вроде фотографического отображения действительности является искусством, тогда это - великое искусство." Но, как бы желая дать понять, что он искусство понимает по-другому, он добавил: "Солженицын - не гений, как Пастернак, но он, конечно, - герой".

Само собой разумеется, что в разговорах с Костей неоднократно упоминалось имя Пастернака; и в конце концов мы решили съездить в Переделкино на его могилу. Весенний день выдался необыкновенно холодным, серым и ветреным, но не одна только погода была главной причиной тому, что этот день прошел без всяких сентиментов, без почитания и лишнего пафоса. Ничто не было так чуждо Косте, как предаваться чувствам благодарности и скорби, связанным для него с памятью о Пастернаке. Наоборот, в этот день ему не раз представилась возможность дать волю своему юмору - когда мы, например, проходили мимо доски, проложенной через канавку, и он произнес речь - вот перед нами блестящий пример великих достижений всемирно известного советского инженерного искусства.

Вместе со своей женой Костя принимал у себя множество гостей, но, по-моему, только таких, которые ценили в нем мужественного представителя того, что один из его друзей, советский лирик, называл "духовным сопротивлением". Когда нас собиралось побольше, мы устраивали пирушки. Я помню один такой вечер - на нем были знако-

мые из Москвы, из Грузии, Англии и Дании. Один из присутствующих провозгласил тост в честь Кости, как "самого храброго мужчины в Советском Союзе". После чего Костя сразу же, с неукротимым юмором и неудержимым комизмом, провозгласил тост в честь самого себя.

Нам всем было очень весело, прежде всего благодаря Косте. Атмосфера была заряжена яркой и увлекательной интеллектуальной жизнью, которая возникает, когда сходятся единомышленники, понимающие друг друга без лишних слов - и одновременно, необузданно предаются чисто русскому разгульному веселью, что называется "пир на весь мир". Мы бесконечно долго пили, провозглашали тосты, танцевали. Патефон мы поставили на кровать, отыскивали две, три пластинки с танцевальной музыкой 30ых годов, которые мы потом бесконечно долго проигрывали. И тут полностью проявилась другая сторона темперамента Кости: танцуя, он всем своим телом выражал исключительную музыкальность и одновременно движениями неотразимый гротескный комизм. У Кости были все данные для клоуна чуть ли не гениального масштаба.

Для нас этот комизм приобрел еще одно особое значение: он разыгрывался на удручающе мрачном фоне. И мы воспринимали его не только как искры жизни, освещающие окружающую тьму, но и как основное средство для того, чтобы выжить.

Для датчан, познакомившихся с Костей, его жизнь и судьба ярко осветили сущность того общества, в котором он жил. Но пример Кости имеет более общее значение. Ведь в обществах, где ни государственная власть, ни государственная идеология не определяют границы для индивида, и там есть мощные силы, которые - хотя и менее физически ощутимым путем - стремятся подорвать духовную свободу и интеллектуальную неприкосновенность личности. Сама культурная жизнь, превратившаяся в своеобразную индустрию, от продукции которой отказаться никто не в силах - это мощный противник, которого никак не минуешь. И хотя у этого противника нет пособников - убивающих тело, все же нельзя не дооценивать его сущность.

У Кости была пламенная душа, но в нем жил и юморист и комик. Он вел бескомпромиссный образ жизни, глубоко связанный с литературной деятельностью, исключавшей как тактические, политические

соображения, так и пустое увлечение внешними формами, — не говоря о стремлении к корысти или карьере. Его понимание жизни, другими словами, было в глубоком согласии с этической основой, на которой зиждется всякое художественное творчество. Он хорошо сознавал, какую цену ему, может быть, придется заплатить за свою принципиальность.

С датского перевел Рольф-Дитрих Кайль

Джеффри А. Хоскинг, Колчестер

ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ДРУГИХ

Прошло больше пяти лет с Костиной смерти, но все еще иногда со мной бывает так: читаю какой-нибудь рассказ, происходит какой-нибудь забавный или тревожный случай, и мне приходит в голову: "Вот Косте бы рассказывать об этом!" Потом помню: нельзя. Давно уже нельзя. И из-за этого сами впечатления от этих рассказов, происшествий бледнеют, становятся менее интересными ...

Что за тайна человеческой души, что нам насущно требуется общения? Правда, Тютчев однажды сказал: "Мысль изреченная есть ложь." Не знаю, может-быть для него это было так, но по-моему это - романтическая выдумка. Для подавляющего большинства из нас, невыраженная мысль теряет какую-то полноту, утрачивает свой потенциал, остается только в зачаточном виде.

Именно в этом смысле Костя был "человеком для других". Я никогда не знал другого человека, кто бы так располагал к откровенной беседе, с глазу на глаз, или в небольшом кружке друзей. Он обладал исключительным даром, восприняв чужие впечатления и мысли, отдавать их обратно в обогащенном виде.

Я неизменно, когда приезжал в Москву, прежде всего звонил Косте. А он, бывало, как только услышит мой голос, закричит: "О счастье! Приезжай немедленно!" Такая у него была стихийная реакция на появление давно невиденного друга: надо было сразу, даже не распаковав как следует чемодан, мчаться к нему. И когда я подходил к его квартире, он всегда отворял дверь рывком, бросался обнимать меня, и начинал разговор с середины занимающего его предмета, как будто мы расстались только накануне. Снова я оказывался в водовороте его интересов, знакомств, страстей, будто только они могли меня по-настоящему занять - но ничего в этом не было эгоистичного, навязчивого. Наоборот, была его детская вера, что так должно быть, и его детская способность сделать из своих

личных дел микрокосм всех наших жизненных поисков.

Эта его способность была порождена, разумеется, не легкой жизнью. Каждый раз, когда он наливал водку в рюмки, руки у него тряслись - признак физической немощи и духовного напряжения, оставшихся от лагерных дней. Беспрестанно его мучило то, что лучшие его годы (от 26-и до 31-ого) были проведены за колючей проволокой. И то ему "повезло": обвинен в 1951 г. в "террористическом замысле", он был приговорен к смерти, но его помиловали и послали на 25 лет в Воркуту - откуда он смог вернуться в 1956 г. по восстановлении ограниченной "социалистической законности". Так он просидел "только" пять лет. Но за этот срок он большему научился, чем большинство из нас за всю жизнь. Думаю, что он бы согласился с Варламом Шаламовым: "Каждая минута лагерной жизни - отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел - лучше ему умереть."⁸⁵ По крайней мере он очень неохотно говорил о своих воркутинских годах. Только разве поздно вечером, когда разговор шел на полную откровенность. Но лагерные годы навсегда выработали в его душе абсолютно сознательное отношение к политике, к искусству, к культуре, к человеческим отношениям вообще. Он знал, что важно в жизни, и что неважно.

Это не значит, что он был человеком решительным. Наоборот, он был сомневающимся, колеблющимся, но его сомнения и колебания возникали, можно сказать, в сфере Киркегора, который утверждал, что сомнение - предпосылка и даже составной элемент веры.

В профессиональной деятельности Костя тоже сближал людей. Своими переводами он делал немецкую литературу по-настоящему доступной русской публике. Особенно его переводами Рильке. Для меня до сих пор Рильке - скорее русский чем немецкий поэт, столько я читал Костиных переводов, да и слышал их в его собственном, весьма своеобразном чтении. Когда он читал стихи, его лицо и голос преображались, и то, что было у него скрытым становилось явным. Морщины на лице обозначались резче, глаза слегка выпячивались, уставляясь в одну точку, кадык заметно, а то и судорожно, двигался. Голос приобретал какие-то несвойственные басовые тона, и гласный "а" растягивался звучным грудным тоном, словно этим раскрывалась какая-то новая, доселе не разгаданная основа бытия.

Повидимому, его привлекал у Рильке дар совместной религиозной, философской и музыкальной речи. Костя был сам поэт по натуре, и если не философствовал, то жил какой-то неосознанной метафизикой. То, что он сам для себя никогда не формулировал, он передавал другим. Для самостоятельной творческой работы он был слишком травмирован жизнью, но он предоставлял свой поэтический дар другим поэтам. Так, как и в быту, он воспринимал чужие идеи, пропитывался ими, и отдавал их обратно в обновленном виде.

Костя был совершенно аполитичным по характеру. Иногда его забавляло обсуждать политику, но в столь снисходительно-добродушном тоне, что все президенты, премьер-министры и первые секретари выступали, как участники какого-нибудь водевиля. Политика, собственно, сочеталась у него с анекдотом - но анекдотом страшно серьезным. Ведь ему ли не знать, какое это роковое дело? Свое прошлое он никогда не забывал. Да и политические деятели, в конце концов, отомстили ему - если КГБ действительно виноват в его смерти, что остается самым вероятным ее объяснением. Какой парадоксальный и пагубный комплимент ему! Оказывается в глазах не только его друзей, но и самих политических руководителей, он олицетворял те несокрушимые человеческие черты, которые стали поперек горла всем тиранам. Способность сводить людей, в дружбе или (в подлинном) культурном взаимопонимании, является постоянной угрозой тем, кто окружает себя недоверием, пропагандой и строго охраняемыми границами. Костя, которому не дали ездить за-границу - или точнее, дали один только раз, в военной форме - был тем не менее гражданином мира в полном смысле слова, и символом тех человеческих свойств, которые (если это вообще возможно) еще спасут нас от тоталитарной чумы.

Кёльн - Колчестер 1981

Зара Кирш, Берлин-Ботель

МОСКОВСКОЕ УТРО

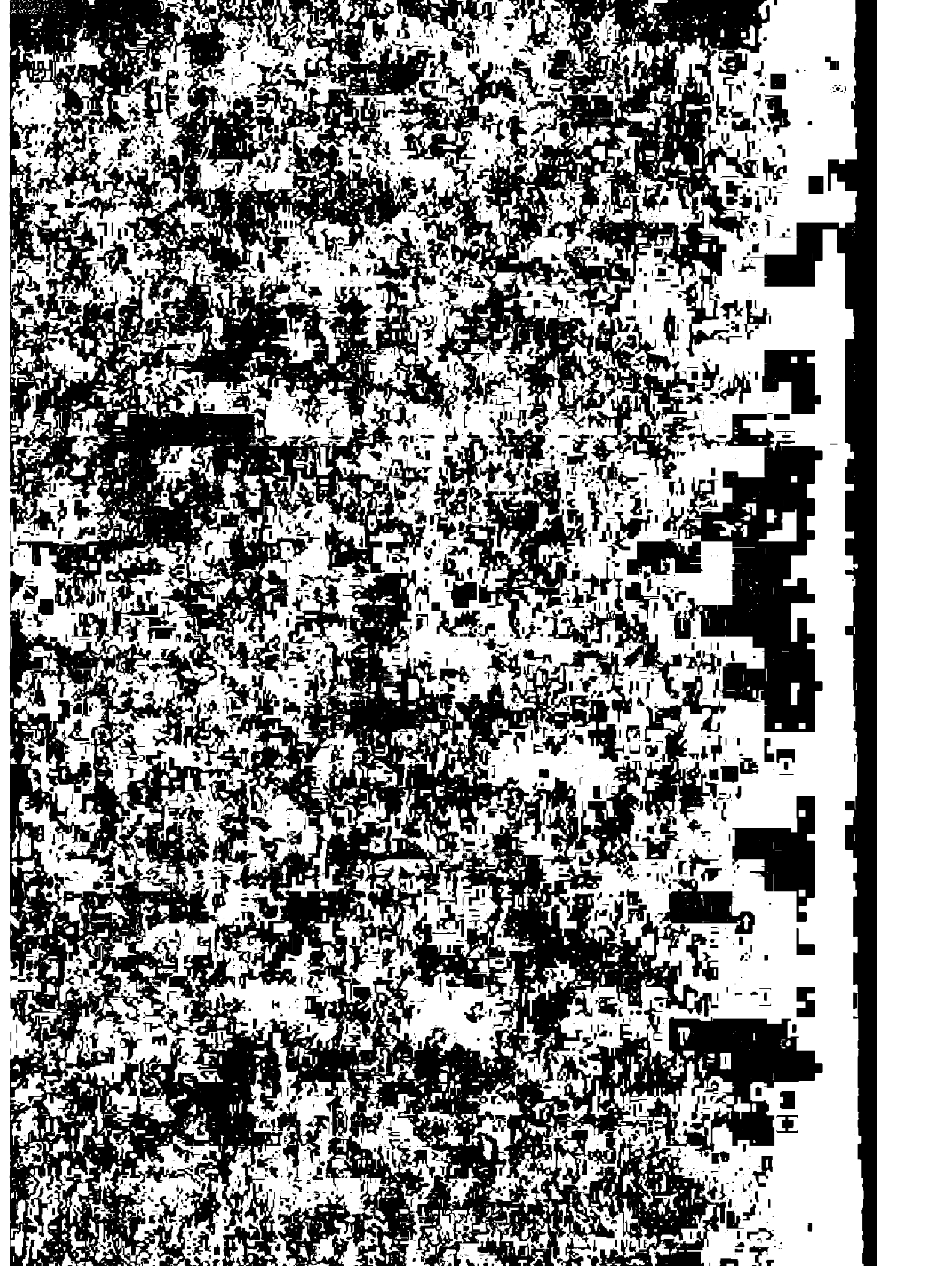
Косте Богатыреву

Рассвет забрезжил над Патриаршьими Прудами.
Там Аннушка пролила масло, и пролила я слезу.
Кот хохотал многозначно. А я поспешила,
Карабкалась на небеса по лестницам кривым,
Вплотную к телу месяца. Увы, другое тело
То, что меня влечет, не здесь.
Быть может он живет за тем окном
На первом этаже. Вот Маргарита!
Маргарита вот! Мелькнули ноги пролетая за окном,
и Маргарита нагревает.
Да Маргарита нагревает печь своей одеждой,
Уж раз она пришла, то не уйдет. Она
Скорее со зла от неба отмахнется,
Чем станет жить смиренно, одиноко, без него -
Единственного. Так именно она и поступает. Вот
Повисла оперенным телом на лестнице моей кривой,
В той деревянной клетке на детской площадке
У Прудов, сооруженной, чтобы карабкались в ней дети. Мы
Хотим тебя видеть. Ты в миндальных зрачках
Моих глаз, изнуренных глазением; мне ведь не дорог
Ни один из пальцев. Ведь не на пальцах
Повисла. Можешь любой получить.
Внизу подо мной кот, виляя хвостом,
И немецкая овчарка - сибирская львица милиции
Спрашивают меня: что же все это значит.

1970

С немецкого перевел Лев Копелев

НЕКРОЛОГИ



Генрих Бёлль, Кёльн

НЕКРОЛОГ НЕЗНАМЕНИТОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Перебирая нашу переписку, просматривая записки с его просьбами о книгах, постепенно начал я постигать, что Костя - так называли мы нашего друга Константина Богатырева - мертв. Он был одним из наших лучших московских друзей, и - пока преступник не найден, пока не выяснен мотив убийства - мне никак не удастся поверить в случайность преступления. Итак, случай или случайность? Они - кто, кто?! - убили Костю. Это должны были быть не только решившиеся на убийство бандиты, это должны были быть бандиты совершенно "непрофессиональные", которым могло прийти в голову подозревать у Кости какие-нибудь богатства. Его единственным богатством были книги, но он их с собой не носил. У него была обширная, любовно оберегаемая, огромная библиотека, с которой он очень аккуратно обращался и которой я иногда завидовал. Разумеется, мы знаем, что каждое общество порождает свои собственные преступления, но я все-таки хотел бы знать, что это за люди, которые просто так подстерегают кого-то у дверей квартиры и убивают. Убивают Костю.

Костя всегда говорил обо всем совершенно открыто, он был человеком искренним до неосторожности. Он провел ужасные годы под арестом и в одиночном заключении, нанесшем ему тяжелейшие физические и психические травмы. Довольно часто, в аэропорту, у самого последнего барьера, к которому еще допускается советский гражданин, он откровенно высказывался не только о системе, не только о Союзе писателей, но и о своем страстном желании однажды увидеть однажды Западную Европу. Костя был прирожденный диссидент, один из первых, которых мне довелось знать. Он им был по натуре, по инстинкту, по опыту, намного раньше, чем диссиденты достигли славы как течение на международном уровне. Ему приходили приглашения, в том числе и от меня, но Союз и власти их игнорировали, ни разу на них не

отреагировав. В Костиной речи, в беседах с ним, в застольных разговорах был виден тонкий переводчик, филолог, современник, знаток и библиоман, человек глубоко раненый, чьи уголки рта все еще, долгое время спустя подрагивали от перенесенных унижений и жестокостей.

Он был прежде офицером Красной Армии, этот наименее военный из людей, которых я когда-либо знал. Он был не просто против военщины, он был лишен всякого чувства военщины, и на фотографиях, изображающих его молодым лейтенантом, он выглядит таким, каким мы представляем себе рильковского корнета. Если название "Жертва сталинизма" отнести к одному человеку - то это к нему. Я спрашиваю себя, жертвой какого рода или разновидности "сталинизма" пал в конце концов он. Мы знаем, везде есть преступники, убийцы, бандиты, бродяги, но кем были эти бандиты, подстерегавшие Костю у его двери! В каком состоянии розыски? Мне думается, многие в Москве сейчас спрашивают себя: "Когда моя очередь?" Сама Анна Ахматова рекомендовала Костю в члены Союза писателей, но даже если бы он был "обыкновенным членом", то и тогда нельзя было бы это убийство просто так приобщить к нерасследованным. Остается сомнение и остается вопрос, в какой степени оно может быть обосновано.

Костя, совместно с другими, до последних мелочей отыскивал фальсификации и неточности в переводе "Группового портрета с дамой". Только он мог вложить столько филологической кропотливости и страсти в такую неблагодарную и неоплачиваемую работу (впрочем, это должно было сделать советское общество охраны авторских прав, которое имеет достаточно средств, чтобы проконтролировать переводы). Костя был "одержимым" филологом, он переводил Эриха Кестнера и Райнера Мария Рильке.

Он почитал Аннемари, мою жену, как коллегу, как друга, возможно, также как и "наполовину соотечественницу": Костя родился в Праге, она - в Пильзене. Мы оба, Аннемари и я, не можем поверить, что он больше не будет стоять на вокзале или в аэропорту. Города - не просто города, не только то, что они стараются изобразить или представить из себя, они также и знакомые нам люди (иногда города становятся реальностью только благодаря людям, которых мы там знаем). И теперь не будет для нас прежней Москва, нам бу-

дет не доставать Кости не только при приезде и отъезде, город стал другим без него, для нас он не будет больше приветливым из-за его чудовищной смерти. Нам придется обходиться без костинной искренности, без его гостеприимства, без обсуждения проблем перевода, без его страсти к справочникам и разговоров об этом. Он был библиоманом и диссидентом по крови и не достиг на этом поприще ни степеней, ни славы, ни имени. Ему так хотелось узнать Западную Европу, речь, образ жизни, запахи и шорохи от Стокгольма до Неаполя и, конечно же, эту достопримечательную, все еще и несмотря ни на что чарующую русских, такую знакомую и незнакомую страну, которая зовется Германией. Он познакомился с ней только очень молодым офицером Красной Армии, выполняя миссию, так неблагоприятно для него окончившуюся. Какая была бы "опасность" в том, если бы ему разрешили один раз выехать? Он был безопасен, потому что был совершенно открытый человек. Разумеется, там где он жил, Костя не имел никаких чинов в иерархии писателей. Никто из высоких господ больше не спросит меня, почему я так часто - иногда трижды (закричать можно) за недельную поездку - навещал Костю, этого "незнаменитого" человека, у которого не было никаких чинов. Знаменитые люди - Бога ради, дорогой Костя, разве я отношусь к ним? - посещают только значительных. И только значительным людям дозволено видеть Западную Европу. Вопрос о розысках убийц Константина Богатырева остается открытым, и перед всеми незначительными диссидентами стоит страшный вопрос: "Когда моя очередь?" После того, как они (кто, кто?) убили Костю, незначительные люди дрожат, больше, чем значительные.

1976

С немецкого перевел Евгений Терновский

Лидия Чуковская, Москва

КТО УБИЛ БОГАТЫРЕВА?

25 апреля 1976 года, в половине девятого вечера, Константин Петрович Богатырев, знаток русской и германской поэзии, талантливый поэт-переводчик, отдавший последнее десятилетие жизни переводам Райнера Мариа Рильке, друг и горячий почитатель Бориса Пастернака и Генриха Белля, поэт-переводчик, удостоенный рекомендации в Союз Анной Ахматовой, - ранним апрельским вечером 1976 года Константин Петрович Богатырев возвращался из ближайшего магазина к себе домой, в один из многоэтажных корпусов писательского дома на Красноармейской. В руках у него была сумка с бутылкой сухого вина и каким-то печеньем. Не успел он сделать и двух шагов от двери лифта к дверям своей квартиры, как упал на пол, обливаясь кровью, с проломленной головой. Услышав крик, соседи внесли Константина Петровича в квартиру и вызвали скорую помощь. "Скорая" доставила Богатырева в больницу. После пятидесяти двух суток тяжелых страданий Константин Петрович скончался.

В газетах ни о нападении на Богатырева, ни о смерти известий не последовало: у нас не принято сообщать об убийствах, если они случаются в Советском Союзе, а не в Штатах. Сообщать о смерти писателя и выражать соболезнование семье и друзьям покойного - принято. "Секретариат Московского Отделения Союза Писателей с глубоким прискорбием сообщает о смерти..." В эпитете перед словом "смерть" возможны варианты: безвременной, скоропостижной; возможно также: "после продолжительной и тяжелой болезни - имя рек - скончался", и уж непременно: Секретариат "выражает глубокое соболезнование семье и друзьям покойного". Вот обычная формула в тех случаях, когда умирает писатель, член Союза. (Или даже, как мы видели, не Союза, а Литфонда - всего лишь.)

О смерти Богатырева, в нарушение обычая, "Литературная газета" нас не известила и никакого соболезнования никому - ни матери,

ни жене, ни сыну, ни многочисленным друзьям - не выразила.

Эка беда! Не все ли равно? Ведь извещением убитого не воскресишь, а соболезнованием родных и друзей не утетишь. Но невольно задумываешься о причине молчания. Думается, причина та, что трудно составить подходящий к случаю текст. В самом деле, как быть? Секретариат "извещает о с м е р т и . . . имя рек. . . п о с л е д о в а в ш е й п о с л е т я ж е л о й б о л е з н и"? Не годится: два удара по черепу - это как-никак не болезнь. Написать: "последовавшей после удара по черепу" . . . нельзя, это значит - известить об убийстве. У нас убийств не бывает. (Конечно, случаются уголовные преступления: например, тот, кто собирает не-удобные властям стихи, да еще комментирует их, тот - уголовник.) Как же, спрашивается, быть? Любимый выход - загнать случившееся в небытие, в немоту. И "Литературная газета" промолчала.

Однако замалчивание злодеяния, как показывает опыт, никогда до добра не доводит. Оно доводит до самозародившихся или нарочно посеянных слухов. С того апрельского дня 1976 года, когда Константин Петрович, выйдя из лифта, упал в двух шагах от своей двери, мы нигде не прочли:

"В поле зрения КГБ (милиции? прокуратуры? уголовного розыска?) убийца писателя Богатырева, гражданин такой-то, попал в 1975 году, когда он. . ."

Выследить преступника, обнаружить и задержать его, доказать его вину и осудить за содеянное преступление - это, видимо, гораздо труднее, чем отправить в тюрьму молодого литератора, написавшего к каким бы то ни было стихам какое бы то ни было предисловие.

Розыски начались сразу. Работники следственных органов беседовали с родными, друзьями, знакомыми, соседями Константина Богатырева, с его первой и второй женой, с его сыном, с его матерью, стараясь выяснить, какова была подоплека убийства, основа для нападения. (Ограблен он не был, да и грабить у него было нечего; пьян тоже не был.) Допрашивали в больнице и пострадавшего, в те короткие минуты, когда сознание - или полусознание - возвращалось к нему. Убийц (или убийцу) он не видел, удары по голове были нанесены сзади.

К какому заключению пришло или на чем споткнулось и остановилось следствие?

"Гласность, честная и полная гласность!" А мы до сих пор, вплоть до февраля 1978 года, когда я пишу эти строки, не прочли ни в одной газете, не услышали ни на одном собрании протокол, который начинался бы знаменательными словами:

"В ходе следствия установлено..."

Ведется ли следствие или прекращено? Что удалось, установить "в ходе"? Неизвестно. Ни бывшим, ни теперешним членам Союза.

Гласности нет - и люди питаются слухами. Самозарождающимися или распространяемыми злонамеренно.

Например, такими.

Лето 1976. Выйдя однажды за ворота своего сада, встречаю на главной аллее в Переделкине пожилую даму, переводчицу. Я ее не помню. Она говорит, что бывала когда-то по переводческим делам у Корнея Ивановича. Возможно. Кто только у него не бывал! Идем вместе. Теперь она приехала навестить кого-то из своих друзей в Доме Творчества. Не зная, с кем говорю, - говорю о погоде. Лето нынче позднее, вишни еще не расцвели, а обычно в эту пору они уже отцветают... Внезапно моя спутница делает большие глаза и понижает голос:

- Вы слышали... Богатырев безнадежен... Сначала ему стало лучше... Откуда-то из Германии достали лекарство... Знаете, ведь он всегда был окружен иностранцами... Они и позаботились... Сначала ему сделалось лучше, а теперь - хуже... Вы слышали?

- Да, - говорю, - слыхала. Костя при смерти.

Когда случилось несчастье, Лев Зиновьевич Копелев срочно дал знать Генриху Беллю, а тот срочно, самолетом, прислал сюда лекарство. Они ведь были друзьями: Белль и Богатырев. И Копелев... Ведь Богатырев германист. Белль с ним дружил, бывал у него, они переписывались.

- Да... Богатырев вечно был окружен иностранцами... Но, говорят, лекарство не помогло, он безнадежен... А вы слышали ли... (взгляд вокруг и полушопот), вы слышали, теперь уже известно, кто его убил. Вы слышали?

Я останавливаюсь. Она тоже.

- Нет, - говорю, - не слыхала. Значит, милиция напала-таки на след? Наконец-то!

- Его убили... сахаровцы.

- Кто-о?

- Сахаровцы... ну, знаете, те, кто поддерживает этого... академика.

- Да что вы за чушь порете! - говорю я, скорее удивленная, чем рассерженная. - Какая чушь! Академик Сахаров - и убийство. (В эту минуту я вижу ясно лицо Андрея Дмитриевича, глаза и крупный рот, слышу медленный голос, и мое первое желание - не прикрикнуть на свою собеседницу, а рассмеяться.) - Вы что же, никогда не слыхали, что Сахаров - убежденный враг насилия? Как Мартин Лютер Кинг, как Ганди?.. Да и зачем ему убивать Богатырева? Они были в прекрасных отношениях... Что за чушь!

- А затем, - назидательно разъясняет мне дама, - затем убили, чтобы свалить на КГБ.

"Вы дура! - хочется мне закричать. - Вы несчастная, темная, оболваненная дура". Чтоб не сорвались эти грубые слова с моих губ, я поворачиваюсь и, не простившись, иду по аллее обратно. О, какое это любимое и несчастное место - это Переделкино! Ни поле, ни река, ни благоухание сирени, ни сосны - ничто не спасает здесь от злобы и глупости. Стоит только выйти из сада на дорогу - и уж непременно встретишься со зловонной ложью. "Иль в Булгарина наступишь..."⁸⁶

Чтобы унять сердцебиение, я начинаю думать о Сахарове. Не о его подвиге, не о судьбе, не о сути. А - "так". О его покое. Почему от него всегда исходит покой? Потому ли, что он всегда, даже на людях - один?

В речи Сахарова есть сдержанность, некая суховатость, сродни академической. И при этом нечто чуть старинное, народное, старомосковское. Он произносит: "удивились", "испугались", "раздевайтесь"... Говорит он замедленно, чуть сбиваясь в поисках точного слова. Перебивать Сахарова легко: каждый из нас говорит быстрее, чем он; но, пожалуй, не следует: перебивая, остаешься в проигрыше. Сахаров легко уступает нить беседы тебе, а сам, затихнув, углубляется в молчание. В мысль. Ахматова, и участвуя в общей беседе, случалось, слагала стихи. О чем бы ни велась беседа вокруг, Сахаров, кажется мне, думает что-то свое. Решает ли он в уме в это время задачи? математические, нравственные, философские? Не

знаю. Но он и в шуме наедине со своей спокойной работой.

Я уже почти подошла к калитке.

Каждый раз, взглянув на Андрея Дмитриевича, удивляешься заново, что одна из главных профессий этого молчаливого человека: во весь голос говорить с целым миром. Свойственное же ему - молчать и думать. Иногда кажется, что он, и присутствуя, отсутствует.

И вдруг, уже подойдя к своей калитке, я поняла, что я-то оборвала разговор, который обязана была продолжить. Имя! Имя сочинителя клеветы!

Я спешу обратно. Я должна нагнать эту клеветоносительницу раньше, чем она успеет скрыться за воротами Дома Творчества!

(С того дня, как меня исключили из Союза, нога моя туда не ступает.)

Я успела.

- Кто вам это сказал? - кричу я, хватая даму за руку. - Сию минуту назовите мне имя!

Она не теряется.

- Я не обязана вам отвечать. Вы не следователь, а я, слава Богу, не какая-нибудь арестантка. Уберите руку. Сказало одно лицо... мне передал муж... одно оч-чень, оч-чень осведомленное лицо из руководства Союза Писателей.

18 июня 1976 года, через несколько дней после этого памятного мне разговора, Константин Богатырев скончался.

18 июня 1976 года, два ближайших друга Богатырева, два Владимира Николаевича, Корнилов и Войнович, взявшись за руки, идут по двору писательского дома. Навстречу им Яков Абрамович Козловский, сосед по дому, не с лучшей стороны обрисованный Войновичем в "Иванькиаде".

- Яша, Костя умер, - говорит Корнилов.

- Ах, умер? - кричит Козловский. - Радуйтесь - умер! Вы же его и убили!

Войнович ответил не словами. Корнилов растащил их.

(Козловский еще попомнит эту встречу им обоим - и Корнилову и Войновичу, когда настанет день исключения Корнилова из Союза.)

Но пока что настает день похорон Константина Богатырева.

Переделкино. Опять Переделкино! Та же кладбищенская гора, увен-

чанная соснами над могилой Пастернака. Но как с тех пор - с 1960 года! - она горестно обогатилась могилами. На этом кладбище я знаю наизусть все надписи на крестах и надгробьях, все тропы, по которым спускаюсь зимой и летом. Иногда мне кажется, что я знаю даже тропы, проложенные над этим кладбищем вершинами сосен на небе.

Могилы спустились на горе вниз уже почти до самой Сетуни. Кладбище переполнено и считается закрытым. Но любимейшим русским поэтом Кости Богатырева, любимейшим из любимейших, был Борис Пастернак. Где же и покоиться Богатыреву, как не на Пастернаковском кладбище?

Друзья и родные выпросили, вымолили разрешение похоронить его там, у подножья горы.

Яма, как новая черная рана, чернеет у спуска к Сетуни.

Сколько народу собралось. Костю отпевают в переделкинской церкви и гроб несут на руках вниз, вниз, к черной яме неподалеку от реки.

Мне кажется, за гробом идет все население писательских московских домов и все население переделкинского Дома Творчества и писательских дач. Богатырева любили. Вот-вот должна выйти книга его переводов: стихи Рильке, которого учителем своим почитал Пастернак... В толпе провожающих узнаю также академика Андрея Дмитриевича Сахарова. А вот из начальства что-то никого не видать. Оно и лучше: нет официальных речей, все говорят по-домашнему, ласково, просто. Я стою у самого гроба. Костино черное, изнутри запекшееся кровью лицо; в тяжело сложенных руках - молитва; венчик на исстрадавшемся лбу. Вслушиваюсь в голоса говорящих. Все говорят с любовью, даже с нежностью. В особенности Айги, чувашский поэт, чью поэзию проповедовал Костя. Ни в одной речи не проскользнуло ни одной риторической, пустой, равнодушной или казенной фразы, ни одного пышного слова. Каждое слово - от сердца. Да, Богатырева любили. Говорят о его преданности литературе: русской и германской. Говорят о Костиной независимости, о его таланте, уме. И такой конец! Скоро будет опубликована книга, в которую им вложено было столько труда и таланта, но он уже не возьмет ее в руки.

Один Войнович печаль одолел гневом и, скорбя об утрате, гневом ответил на оскорбление, нанесенное ему и друзьям.

Говорил он решительно, энергически, твердо, даже вызывающе:

- Убийство Богатырева, - сказал он, - это еще одна попытка запугать интеллигенцию. При Сталине Богатырев был приговорен к смертной казни. Высшую меру наказания заменили ему двадцатью пятью годами. Сталин умер - и Богатырев просидел только пять. Недавно мы, друзья его, праздновали вместе с ним окончание того, предполагаемого двадцатипятилетнего срока. Но приведенным в исполнение оказался первый приговор: к смерти. Костю убили. Мы узнаем эту руку, этот почерк знаком нам...⁸⁷

... Речи кончились. Началось прощание. Родные и друзья по очереди склоняются над черным лицом.

Крошечная девяностолетняя Костина мать. (Зачем дожила она до этого часа?) Высокий юноша - тоже, как и отец, Костя, - в отличие от отца именуемый "маленький Костя", хотя редко встречаются юноши такого непомерно высокого роста.

Сегодня "маленький Костя" хоронит отца, завтра у него экзамен на аттестат зрелости.

Прощание. Вереница прощающихся. Яма. Поблескивание, позванивание лопат. Комья земли. Нет более Костиного лица. Округлый холм живых цветов. Здесь, на этом месте, когда-нибудь поднимется плита со стихами великого германского поэта, звучащими по-русски.

Я благодарна Войновичу за слово "мы". "Мы узнаем"... "Мы помним"... Верно или нет высказанное им предположение, но слова "мы", "нам" - дорогие слова. Может быть, и правда - интеллигенция еще существует? Не вся вымерла, не вся посажена, не вся в отъезде? Я оглянулась кругом. "Нас" много. Костя был рожденный литератор, он литературой дышал, и сколько литераторов с любовью пришли проводить его. Но когда толпа, истомленная жарой, редая, разбиваясь на ручейки, медленно потекла от могилы к шоссе (кто искать машину, кто к себе на дачу, кто на станцию) - стало видно, что "не нас" тоже много.

Мы медленно идем по освещенному солнцем краю косогора к шоссе. Справа, внизу, река Сетунь. Слева - кладбищенская гора, увенчанная соснами над могилой Пастернака. Между горой и рекой почти уже нету места: ограды, ограды, кресты, надгробья, плиты, памятники. Привалясь жирными спинами к оградкам, руки в карманы, в цветных рубахах стоят пустоглазые парни. Им скучно. У них сонные лица.

Все, что надо, они уже выслушали, высмотрели, они готовы к докладу, и до смерти охота в пивную, они, позевывая, привалились к оградкам. Не было бы оград - без стеснения привалились бы к крестам, к надгробьям. Жара. Стоять тяжело; они полулежат на оградках.

Медленно, поределой толпой, идем мы к шоссе. И вдруг позади меня ясный женский голос:

- Вот - поглядите на них! Они и убили.

У, как быстро распрямились и отклеились от оград жирные спины, как лихо завертелись шеи, как выбросились из карманов кулаки!

"Кто сказал?"

- А кто сказал?

Я не знаю, кто сказал. Я не знаю, кто убил. Но я знаю: до тех пор, пока убийство Богатырева не будет расследовано, раскрыто и предано гласности, - каждый день будут возникать новые версии. Сделать так, чтоб люди не думали, не размышляли, не высказывали свои предположения - на ухо друг другу или вслух перед толпой, - невозможно. И я тоже хочу поделиться с читателем открыто, вслух, вот какой небогатой идеей. Михаил Хейфец, написавший предисловие к "ущербным" стихам Иосифа Бродского (даже КГБ не называет их антисоветскими), - Михаил Хейфец был обнаружен, схвачен и приговорен к четырем годам лагеря и двум годам ссылки с необычным проворством. Соответствующие органы предупредили страшное преступление: подумать только, если бы они во время не выследили преступника - ущербные стихи, чего доброго, дошли бы до читателя. Но, благодаря их бдительности и проворству, Михаил Хейфец на основании соответствующей статьи Уголовного Кодекса четвертый год сидит в тюрьме. Почему же проявлена такая медлительность, когда дело идет о настоящей уголовщине, об убийстве? Почему третий год мы ждем, ждем и не единого звука не слышим о ходе следствия? Не наносит ли такое положение вещей настоящий ущерб нашему обществу: литератор за решеткой, а неведомый убийца - на воле? Не лучше ли наоборот?

Кто убил Богатырева?

Недавно выяснилось, что его вообще не убивал никто.

Как это - никто? Значит - Костя жив? Кого же мы хоронили? Может быть, приснились мне эти похороны?

Со дня похорон Богатырева (20 июня 1976) и ко дню исключения из Союза Писателей Владимира Корнилова (18 марта 1977) возникла новая версия: Богатырева никто не убивал. Эта и была та новость, которая овеяло свежестью очередное мероприятие в комнате № 8.⁸⁸ Что ж! Через несколько лет мы, быть может, узнаем, что никакого Константина Петровича Богатырева никогда и на свете не было, а те, кто осмелится утверждать, что он все-таки б ы л, продались заокеанским хозяевам и занимаются фабрикацией антисоветских фальшивок.

Февраль 1978

Томас Венцлова, Вильнюс - Нью Хейвен

Nel mezzo del cammin di nostra vita

Памяти Константина Богатырева

Меня настигла середина века.
Я жил, но учился небытию.
Смерть была для меня членом семьи,
занявшим бóльшую часть квартиры.
Я понемногу ее приручал
И даже просил, чтобы она меня не коснулась,
А по утрам видел, насколько знаю,
Прекраснейший из городов Восточной Европы,
Где ждет своего часа железо,
Во мгле шуршит гниющий тростник,
Есть камень, кастет, паровоз
И вероятно, в лучшем случае - бензин.
Я спал, пил, ел внутри смерти.
Пытался придать ей цель и смысл,
Даже забывал ее. Но с ней
Человек почти неспособен свыкнуться.

Я поворачивал ключ в двери коридора. Сердце,
Потеряв ритм, отягощало грудь.
Кстати, в этом государстве смерть
Порой бывала даже случайной.

Глеб Струве, Беркли

ДА БУДЕТ ЕМУ ЛЕГКА ЗЕМЛЯ

Весть о трагической смерти Константина Петровича Богатырева, скончавшегося в московской больнице от последствий зверского избиения меня глубоко задела. Я не был с ним знаком, я знал лишь немного фактов из его биографии; знал далеко не все о его литературной деятельности. Но так вышло, что в последние семь месяцев его жизни мы с ним были в регулярном эпистолярном общении: между октябрём 1975 года и концом апреля 1976-го я получил от него шесть писем. На все шесть я отозвался. Последнее его письмо было написано за четыре дня до рокового нападения - 22-го апреля. Я ответил на него 5-го мая, когда еще не знал об этом трагическом происшествии. Это мое последнее письмо - даже если оно дошло по адресу - уже не могло быть прочитано им. 26-го апреля он был подобран без сознания в луже крови и тотчас же отвезен в госпиталь, где пролежал до самой смерти, почти, по-видимому, не приходя в сознание. Жену, которую сначала не пускали к нему, он потом не всегда узнавал. О происшедшем ничего не мог припомнить...

Фамилия Богатырева была мне известна по его отцу, П.Г. Богатыреву, очень известному ученому, специалисту по фольклору, близкому в 20-ые годы к русским формалистам, другу проф. Р.О. Якобсона, в те же годы прожившему довольно долго в Подкарпатской Руси, где он занимался изучением фольклора. В прошлом году в Тарту вышел посвященный его памяти 7-ой том "Трудов по знаковым системам",⁸⁹ который открывается краткой статьей о нем Ю.М. Лотмана, за которой следует перевод напечатанной в свое время только почешски статьи П.Г. Богатырева о "знаках в театральном искусстве".⁹⁰ Сын прислал мне этот сборник на память об отце.

Имя самого К.П. Богатырева я встречал в 60-х годах среди подписей под всякими протестами против преследования инакомыслящих (о его роли в этом деле пишут авторы коллективного некролога в

Новом Русском Слове)⁹¹. В 1969 году мое внимание привлекли напечатанные в "Новом Журнале" переводы его из Райнера Марии Рильке, в том числе прекрасный "Святой Себастьян" (переводы эти были напечатаны без ведома Богатырева).⁹²

На почве нашего общего интереса и любви к Рильке началось и наше дружеское эпистолярное общение. Совершенно случайно Богатыреву стали известны мои переводы из Рильке.⁹³ Они его заинтересовали, а некоторые из них очень ему понравились, и он сразу же и мне написал. После этого письма его приходили, примерно, раз в месяц, и я сразу же на них отзывался. По-видимому, мои письма шли к нему дольше, чем его ко мне: так, мое письмо от 3-го октября он получил только 28-го, а его ответное, от 29-го октября было в моих руках уже 5-го ноября.

Переписка наша была главным образом на литературные темы. Он писал мне о своей работе над переводами Рильке, о том, что он готовит новый полный перевод "Новых стихов" Рильке, причем упомянул, что во второй части этого сборника многие стихи кажутся ему малоинтересными. В одном письме он соглашался с высказанным мною мнением, что поэзия, и особенно хорошая поэзия, по-настоящему непереводима, прибавляя: "Но именно поэтому переводить так интересно. Стихи приобретают новое звучание, а иногда действительно могут соперничать с оригиналом или даже побеждать его". И продолжал: "В то же время это - странное занятие, и мне самому неясно, сколько в нем - в этом занятии - творческого элемента. Столько же, скажем, сколько у исследователя данного стихотворения. И вообще интерпретаторский ли это талант или (в большей степени) поэтический? Загадочное дело - переводы поэзии".

В том же письме он мимоходом упомянул свое сидение в лагере, сказав, что начал заниматься переводом стихов, что стало затем его главным делом, "в поздние 50-ые годы, выйдя из лагеря".

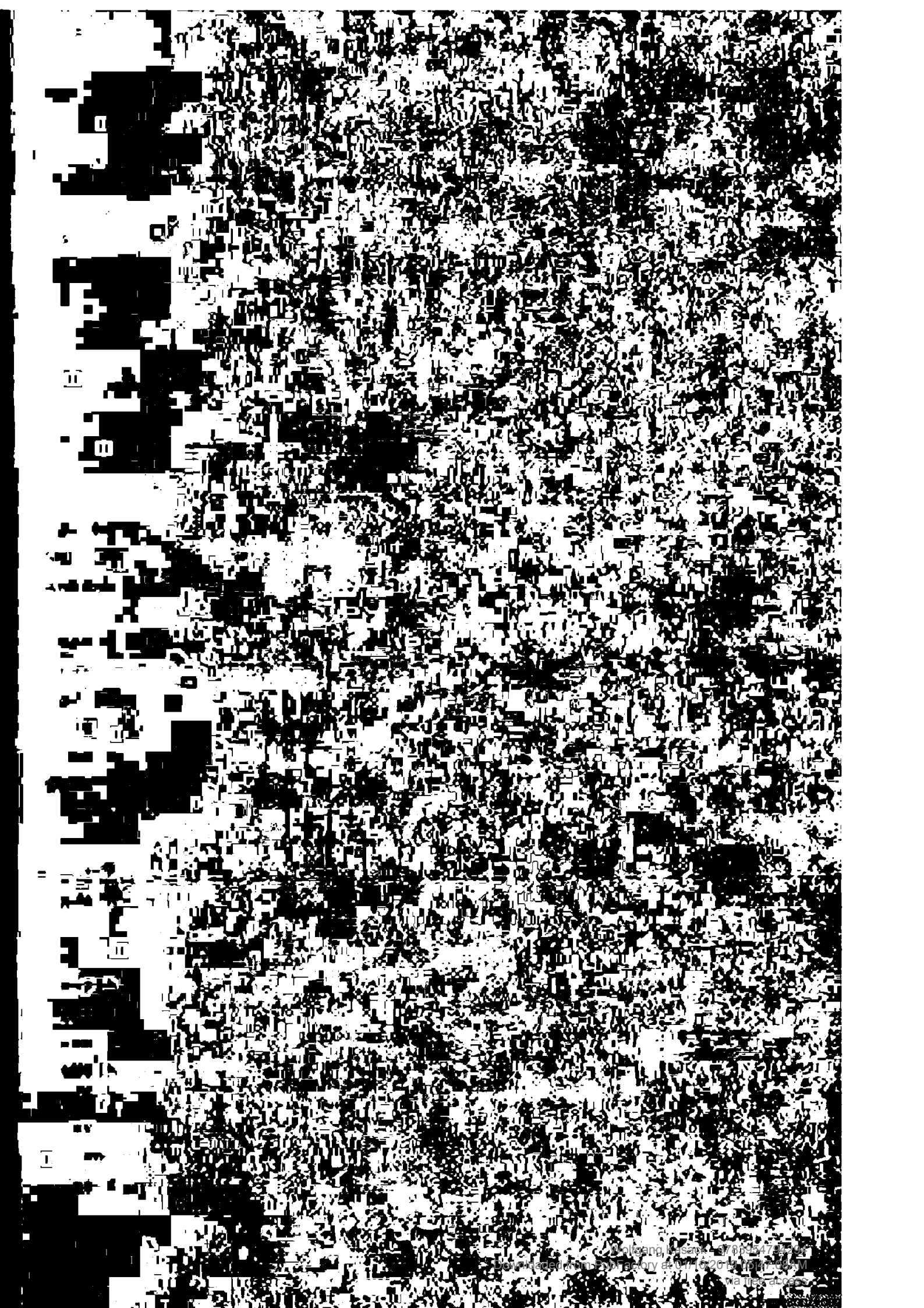
В другом письме К.П. сообщил мне, что в журнале "Иностранная Литература" появилась большая подборка стихотворений Рильке, четыре из них в его переводах.⁹⁴ Прибавлял при этом, что у него нет надежды достать этот журнал, на который он не подписан. То же самое он говорил о других советских изданиях, в которых печатались его переводы, давая понять, что такие издания иностранных писателей почти нельзя достать, так как они не залеживаются на

прилавках книжных магазинов. Все же ему удалось послать мне вышедший еще в 1971 году в издательстве "Искусство" большой том произведений и писем Рильке, а также статей о нем (в том числе большой статьи К.М. Азадовского и Л.Н. Черткова о Рильке в России).⁹⁵ Этот том он у кого-то выпросил. Ему самому очень хотелось иметь хороший портрет Рильке, который он мог бы обрамить. Я написал доктору Ингеборг Шнак, которая к столетнему юбилею Рильке выпустила в прошлом году двухтомную детальнейшую летопись жизни и творчества поэта, и она послала Богатыреву одну из хороших поздних фотографий Рильке.

В письме от 24-25 марта Богатырев сообщил мне, что новый томик стихов Рильке, о предстоящем выходе которого он писал мне раньше, уже вышел,⁹⁶ но, будучи напечатан в Киеве, в продажу в Москве еще не поступил, прибавляя опять: "На прилавках он и не появится". Засим следовала фраза: "Из официально заказанных мною 50 экземпляров мне твердо обещаны лишь п я т ь!" Тем не менее и этот сборник он мне прислал - с очень милой надписью. Пришел он уже после нападения на Богатырева, но когда я еще не знал об этом. Дата под дарственной надписью была: 24.4.76 - т.е. за два дня до нападения, в православную Страстную субботу. А последнее письмо К.П. ко мне было датировано за два дня до того.

Да будет легка земля Константину Петровичу - Косте, как называли его близкие и друзья! В том, что он стал жертвой не случайного нападения, а сознательного покушения на убийство, почти не приходится сомневаться.

ИЛЛЮСТРАЦИИ





Солдатом в Ашхабаде во время второй мировой войны (1943 г.)

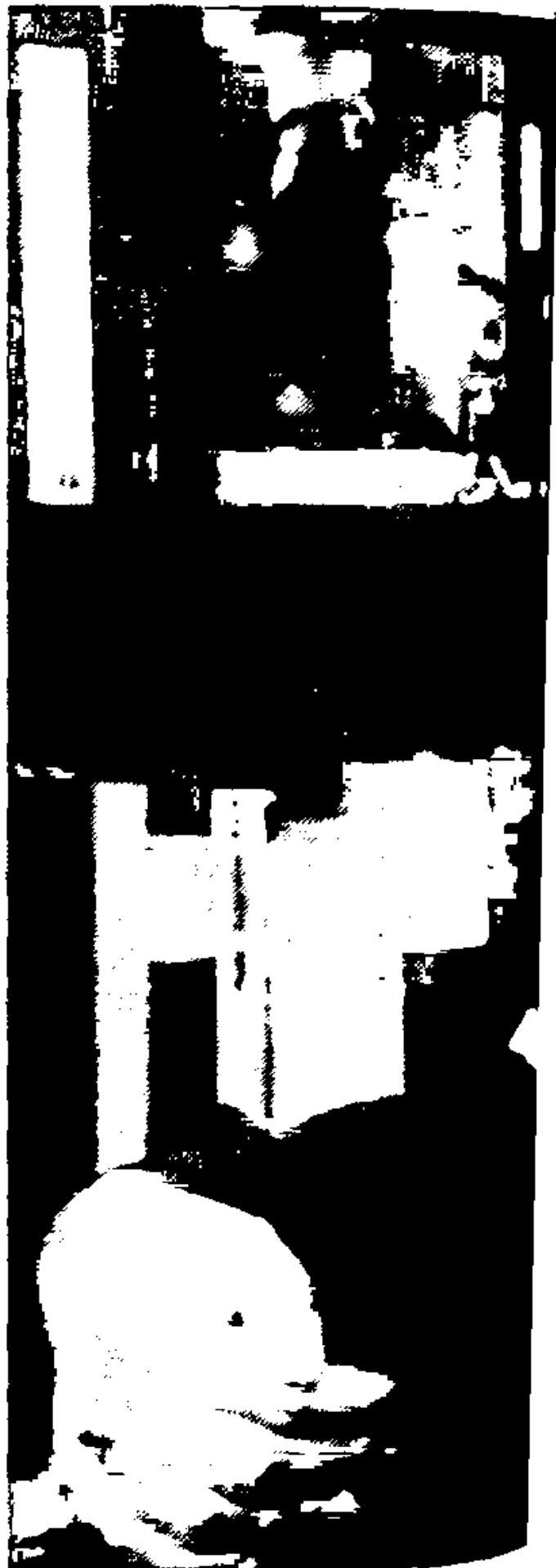


В 1973 году



В 1975 году





С женой Еленой Суриц



С Геннадием Айги



Среди друзей лагерных времен в 1975 году
Слева: Александр Дворядкин, справа: Григорий Авдеев



На кладбище в Переделкине. Речь Осипа Черного. Налево впереди мать, рядом с ней жена К. Богатырева Елена Суриц, О. Черный и Екатерина Старикова. За вдовой и О. Черным слева направо: Фазил Искандер и Евгений Евтушенко



Андрей Сахаров у гроба, за ним мать К. Богатырева

Дорогой Киселев!

Медаль от Сталина
не только в музее
в рюкзак в лес. Спасибо
за памятник, а на Ряд
обо мне напишите.
Мы дури делаем Вам
в нужной комиссии,
все и уровень, нет,
в институте, больше,
вам нужно. В перне-
иче, перне-иче.

Всегда Вам

Масляков

27 янв 1974,

Москва.

Стр. 292: Письмо Б. Пастернака К. Богатыреву в воркутский лагерь от 27-го января 1954. Текст напечатан на стр. 188

Стр. 293: Письмо Б. Пастернака К. Богатыреву от 2-го января 1958. Текст напечатан на стр. 188

Направо: Дарственная надпись Анны Ахматовой на книге "Стихи разных лет 1909 - 1957": Константину Петровичу Богатыреву за чудесные переводы Рильке. Ахматова 4 февраля 1961. Москва

Константину Петровичу
Богатыреву

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

1909—1957

За

трудом и правдой
России

А. А. Мавоки

4 февраля

1961

Москве

Где,
 Мове
 нежно.
 Рилье
 Коешь

Die Erblindende

Она как все держалась за столом.
 Но гашку - показавшись мне стала -
 Она тут-тут не так, как все держала.
 Потом вдруг уныла только ртом.

Когда же встали все из-за стола
 и разбрелись кто с кем и как пошло
 по комнатам (точно, слышь, доктана),
 - я видел, как она за всеми шла,

но наизярко - будто бы ехала
 и перед всеми предельно медь ей.
 И как ой гладу вояной на лице вешь
 Науряный свет ошевливши от гладу.

Шла медленно, как бы боясь претраду
 и все в воянени: "Не перештишь их?"
 Как будто бы, преодолев их рад,
 она вздохней и полетий на крыльях.

! Кратко К. Богатырева

Уважаемый товарищ!

Всесоюзное бюро пропаганды
художественной литературы
Союза писателей СССР
и Центральная городская
публичная библиотека
им. Н. А. Некрасова

приглашают Вас

2 декабря 1975 г. в 19 часов

на

ВЕЧЕР ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА,

посвященный

100-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

австрийского поэта

**РЕЙНЕРА МАРИЯ
РИЛЬКЕ.**

В вечере примут участие поэты:

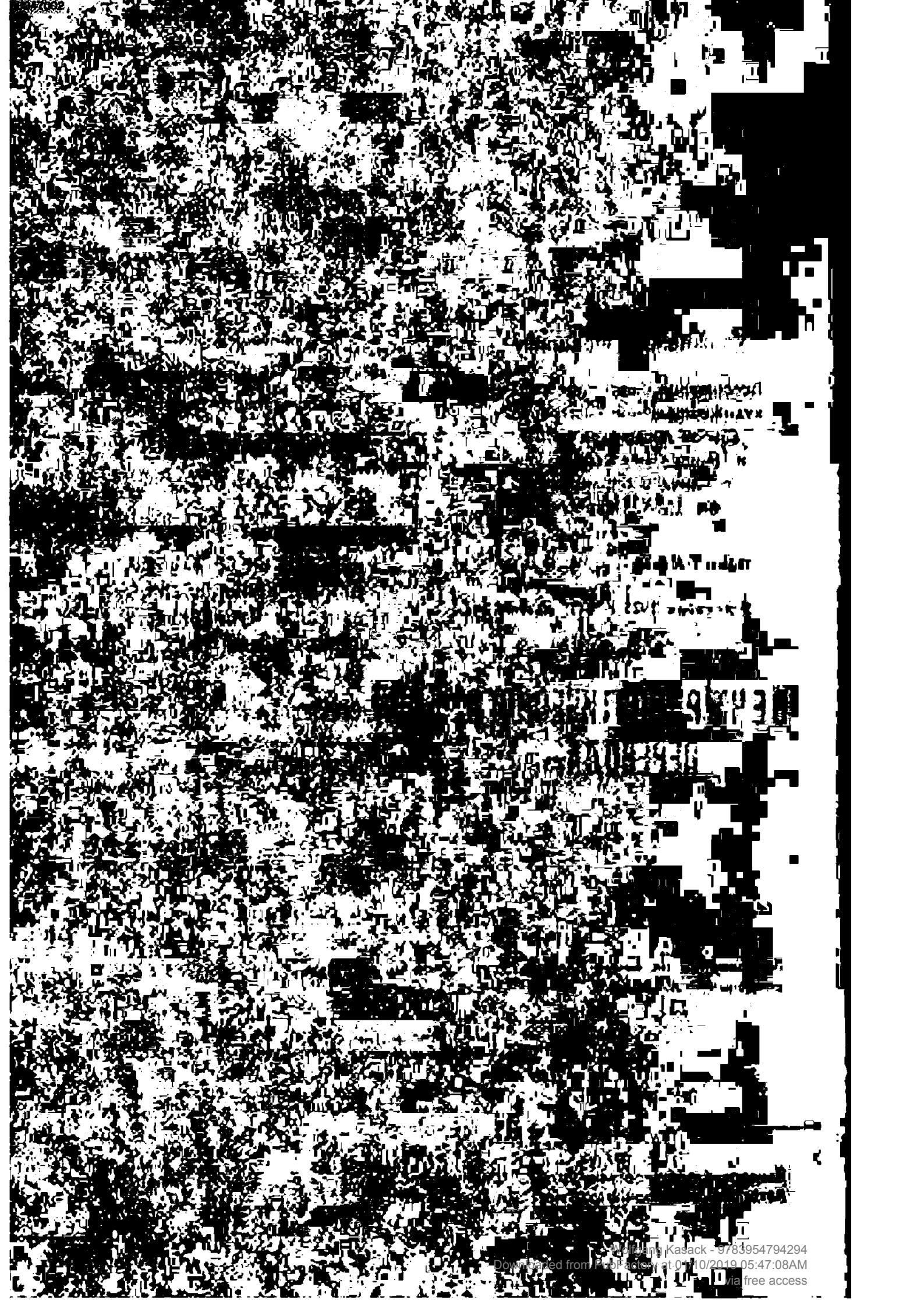
**КОНСТАНТИН БОГАТЫРЕВ,
ДАНИИЛ КОПЕЛЯНСКИЙ,
ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ,
ЮЛИЯ НЕЙМАН,
ЕВГЕНИЙ ХРАМОВ.**

Председательствует

поэт
ПЕТР ВЕГИН.

Приглашение на вечер поэтического перевода по поводу 100-летия со дня рождения Р.М. Рильке

Налево: Стихотворение Рильке "Слепнувшая" в русском переводе К. Богатырева. Автограф переводчика. Текст напечатан на стр. 102



УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ К. БОГАТЫРЕВА

- 1 Перевод четырех нижнелужицких песен из сборника: L. Haupt, E. Schmalzer "Volkslieder der Sorben aus der Ober- und Nieder-Lausitz" I. Berlin 1953 (Veröffentlichungen der Kommission für Volkskunde bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften 3). В кн.: "Эпос славянских народов". Под общей редакцией П. Г. Богатырева. Москва 1959 (стр. 487-489: "Смерть от любви", "Неиссякаемая любовь", "Любовь до гроба", "Спасение").
- 2 Перевод стихотворений в русском переводе романа Э. Штриттматтера "Чудодей" (Erwin Strittmatter, Der Wundertäter; 1957). В кн.: Эрвин Штриттматтер: "Чудодей". Роман. Послесловие Льва Копелева. Москва: Иностранная литература 1960.
- 3 Перевод следующих стихотворений Э. Кестнера: "Колыбельная" (Wiegenlied), "Экскурсия в детство" (Kleine Führung durch die Jugend), "Человек добр" (Der Mensch ist gut), "Время мчится в автомобиле" (Die Zeit fährt Auto), "Jardin du Luxembourg", "Осень по всему фронту" (Herbst auf der ganzen Linie), "Воскресенье в маленьком городе" (Kleine Stadt am Sonntagmorgen), "Загородная прогулка в автомобиле" (Im Auto über Land), "Белые времена" (Große Zeiten), "Лессинг" (Lessing), "Аванс весне" (Frühling auf Vorschuß), "Сырой ноябрь" (Nasser November), "Другая возможность" (Die andere Möglichkeit), "Семейные стансы" (Familiäre Stanzen), "Хорошая погода" (Prima Wetter), "Краткая автобиография" (Kurzgefaßter Lebenslauf), "Золотое время юности" (Goldene Jugendzeit), "Где же позитивное начало, господин Кестнер?" (Und wo bleibt das Positive, Herr Kästner?), "Нечаянный итог" (Bilanz per Zufall), "Достаточно кубического километра" (Ein Kubikkilometer genügt), "Неоконченный спор" (совместный перевод К. Богатырева и Е. Эткинда; Das ohnmächtige Zwiegespräch), "Слово предоставляется молодежи" (Die Jugend hat das Wort), "Песня об игрушках" (Das Spielzeuglied), "Маленькое соло" (Kleines Solo), "Маленькая свобода" (Die kleine Freiheit), "Май" (Der Mai), "Песенка-марш" (Marschliedchen), "Миру - мир!" (Schlußreplik aus "Die Acharner. Frei nach Aristophanes"). В кн.: Эрих Кестнер (Erich Kästner): "Маленькая свобода". Стихи. Москва: Иностранная литература 1962.
- 4 Перевод стихотворений в переводе Льва Копелева драмы Э. Штриттматтера "Невеста Голландца" (Erwin Strittmatter, Die Holländerbraut; 1961). Эрвин Штриттматтер: "Невеста Голландца". В журн.: "Театр" 1962.3 стр.170-192.
- 5 Перевод следующих стихотворений Э. Кестнера (Erich Kästner): "Ты знаешь край?" (Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen?), "Голоса из братской могилы" (Stimmen aus dem Massengrab), "Письмо моему сыну" (Brief an meinen Sohn), "Песенка-марш" (Marschliedchen), "Май" (Der Mai). В журн.: "Подъем" 1962.5 стр.90-92.

- 6 Перевод романа Бригитты Рейман "Вступление в будни" (Brigitte Reimann, *Ankunft im Alltag*; 1961). Москва: Молодая гвардия 1964. 253 стр.
- 7 Перевод рассказов В.Герцфельде "Барвинок.Удивительные встречи и наблюдения жизнерадостного сироты" (Wieland Herzfelde, *Immergrün. Merkwürdige Erlebnisse und Erfahrungen eines fröhlichen Waisenknaben*; 1949). Москва: Молодая гвардия 1965. 272 стр.
- 8 Перевод стихотворения Р.М. Рильке (Rainer Maria Rilke) "Испанская танцовщица" (*Spanische Tänzerin*) в статье Льва Копелева "Райнер Мария Рильке на русском языке". В журн.: "Иностранная литература" 1965.7 стр.261-264(264).
- 9 О переводах Юрия Коринца. В журн.: "Детская литература" 1966.8 стр.51-52.
- 10 Перевод романа для детей Э. Кестнера "Мальчик из спичечной коробки" (Erich Kästner, *Der kleine Mann*; 1963) и предисловие к этому изданию. Москва: Детская литература 1966. 160 стр.
- 11 Перевод стихотворений Б. Брехта (Bertolt Brecht): в книге Льва Копелева: "Брехт". Москва: Молодая гвардия 1966 (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып.3).
- 12 Перевод следующих стихотворений Р.М. Рильке: "О фонтанах" (*Von den Fontänen*), "Песнь любви" (*Liebes-Lied*), "Пантера" (*Der Panther*), "Испанская танцовщица" (*Spanische Tänzerin*), "Смерть поэта" (*Der Tod des Dichters*). В журн.: "Литературная Грузия" 1966.7 стр.43-44.
- 13 Перевод следующих стихотворений Р.М. Рильке: "Ранний Аполлон" (*Früher Apollo*), "Гробница девушки" (*Grabmal eines jungen Mädchens*), "Морг" (*Morgue*), "Святой Себастьян" (*Sankt Sebastian*). В журн.: "Новый журнал" 96 (Нью-Йорк 1969) стр. 29-30.
- 14 Перевод комедии Ф. Дюрренматта "Геркулес и Авгиевы конюшни" (Friedrich Dürrenmatt, *Herkules und der Stall des Augias*; 1954) и редакция других переводов того же издания: "Фридрих Дюрренматт: "Комедии". Москва: Искусство 1969 (перевод К. Богатырева на стр. 413-479).
- 15 Предисловие к латышскому изданию романа для детей Э. Кестнера "Мальчик из спичечной коробки". Рига: Лиесма 1969.
- 16 Перевод комедии М. Фриша "Дон Жуан или любовь к геометрии" (Max Frisch, *Don Juan oder die Liebe zur Geometrie*; 1953) и редакция других переводов того же издания: Макс Фриш: "Пьесы". Москва: Искусство 1970 (перевод К. Богатырева на стр. 131-208).
- 17 Перевод романа К. Манна "Мефистофель" (Klaus Mann, *Mephisto*; 1936). Москва: Молодая гвардия 1970.304 стр.
- 18 Перевод следующих стихотворений Р.М. Рильке: "Ранний Аполлон" (*Früher Apollo*), "Собор" (*Die Kathedrale*), "Портал" (*Das Por-*

tal) I-III, "Окно-роза" (Die Fensterrose), "Капиталь" (Das Kapital), "Морг" (Morgue), "Газель" (Die Gazelle), "Единогор" (Das Einhorn), "Святой Себастьян" (Sankt Sebastian), "Лебедь" (Der Schwan), "Испанская танцовщица" (Spanische Tänzerin). В кн.: Р. М. Рильке: "Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи". Москва: Искусство 1971.

- 19 Перевод следующих стихотворений А. фон Шамиссо: "Общественное мнение страждет вслух..." (Die öffentliche Meinung schreit und klagt), "Ты был певец, а ныне ты глашатай" (Wer hat zum Schreier also dich bedungen?), "Memento", "Увещевание" (Mahnung). В кн.: Адельберт Шамиссо (Adelbert von Schamisso): "Избранное". Москва: Художественная литература 1974.
- 20 Перевод стихотворения Р.М. Рильке "Испанская танцовщица" (Spanische Tänzerin). В кн.: "Золотое перо". Немецкая, австрийская и швейцарская поэзия в русских переводах 1812-1970 гг. Москва: Прогресс 1974 (стр. 618-619).
- 21 Перевод следующих стихотворений Р.М. Рильке: "Узник" (Der Gefangene), "О фонтанах" (Von den Fontänen), "Поэт" (Der Dichter), "Смерть поэта" (Der Tod des Dichters), "Архаический торс Аполлона" (Archaischer Torso Apollos), "Римские фонтаны" (Römische Fontäne), "В чужом парке" (In einem fremden Park), "Quai du Rosaire", "Площадь" (Der Platz), "Испанская танцовщица" (Spanische Tänzerin), "Слепнувшая" (Die Erblindende), "Песнь любви" (Liebes-Lied). В кн.: Райнер Мария Рильке: "Избранная лирика". Москва: Молодая гвардия 1974.
- 22 Перевод следующих (в некоторых случаях сокращенных) статей, рецензий и заметок И.В. фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe): "План на вечность" (Aussichten in die Ewigkeit; 1773), "Несколько слов об авторе "Пилата" (Ein Wort über den Verfasser des "Pilatus"; 1782), "Пикколомини" (Die Piccolomini; 1799), "Веймарский придворный театр" (Weimarisches Hoftheater; 1802), "Регул". Трагедия в пяти актах Коллина (Regulus. Eine Tragödie in fünf Aufzügen von Collin; 1805), "Уголино Герардеска". Трагедия, изданная Белендорфом (Ugolino Gherardeska, ein Trauerspiel, herausgegeben von Böhlendorf; 1805), "Портреты ныне здравствующих берлинских ученых наряду с их автобиографиями" (Bildnisse jetzt lebender Berliner Gelehrten, von S.M. Lowe; 1806), "Немецкий театр" (Deutsches Theater; 1813), "О немецком театре" (Über das deutsche Theater; 1815), "Обороты речи, которых писатель избегает, предоставляя, однако, читателю включать их по желанию" (Redensarten, welche der Schriftsteller vermeidet, sie jedoch dem Leser beliebig einzuschalten überläßt; 1817), "Немецкий язык" (Deutsche Sprache; 1817), "Священные волхвы" (Die heiligen drei Könige; 1820), "Юстус Мёзер" (Justus Möser; 1823), "История Рима" Нибура (Römische Geschichte von Niebur; 1827), "Посмертные сочинения и переписка Зольгера" (Solgers nachgelassene Schriften und Briefwechsel; 1827), "Новейшая немецкая поэзия" (Neue deutsche Poesie; 1827), "Песнь о Нибелунгах" (Das Nibelungenlied; 1827), "Histoire de la vie et des ouvrages de Molière" (Par J. Та-

scherau; Paris 1828; 1828). В кн.: Иоганн Вольфганг Гёте: "Об искусстве". Составление, вступительная статья и примечания А. В. Гулыги. Москва: Искусство 1975.

- 23 Перевод следующих стихотворений П. Целана (Paul Celan): "Откос" (Die Halde), "Ночью, губы надувши" (Nächtlich geschürzt), "Набросок ландшафта" (Entwurf einer Landschaft), "Отчет о лете" (Sommerbericht), "Лед, рай" (Eis, Eden), "Что случилось?" (Was geschah?), "Ты вытравил" (Weggebeizt), "Give the Word", "Порт" (Hafen), "Лихтенберга наследство" (Lichtenbergs Zwölf), "Lyon. Les Archers". В кн.: "Из современной австрийской поэзии". Москва: Прогресс 1975.
- 24 Перевод следующих стихотворений И. Бахман (Ingeborg Bachmann): "Отсроченное время" (Die gestundete Zeit), "Изо дня в день" (Alle Tage). В кн.: "Из современной австрийской поэзии". Москва: Прогресс 1975.
- 25 Перевод следующих стихотворений Р.М. Рильке: "Голубая гортензия" (Blaue Hortensie), "Чужая семья" (Fremde Familie), "Опыт смерти" (Todeserfahrung), "Уход блудного сына" (Der Auszug des verlorenen Sohnes). В статье Н. Литвинца: "Райнер Мария Рильке. К 100-летию со дня рождения". В журн.: "Иностранная литература" 1975.12 стр. 187-189.
- 26 Совместная статья К. Богатырева и Генри Глейда: Konstantin Bogatyrev and Henry Glade: "The Soviet Version of Heinrich Böll's 'Gruppenbild mit Dame': The Translator as Censor". В журн.: "The University of Dayton Review". Vol.12. Spring 1976 стр. 51-56.
- 27 Перевод следующих стихотворений Р.М. Рильке: "О фонтанах" (Von den Fontänen), "Песнь любви" (Liebes-Lied), "Будда" (Buddha: Als ob er horchte), "Собор" (Die Kathedrale), "Портал" (Das Portal) I-III, "Окно-роза" (Die Fensterrose), "Капиталь" (Das Kapitäl), "Бог в Средние века" (Gott im Mittelalter), "Узник" (Der Gefangene) I-II, "Пантера" (Der Panther), "Судьба женщины" (Ein Frauen-Schicksal), "Слепнушая" (Die Erblindende), "В чужом парке" (In einem fremden Park), "Прощание" (Abschied), "Будда" (Buddha: Schon von ferne), "Испанская танцовщица" (Spanische Tänzerin), "Архаический торс Аполлона" (Archaischer Torso Apollos), "Остров сирен" (Die Insel der Sirenen). В кн.: Райнер Мария Рильке: "Лирика". Москва: Художественная литература 1976.
- 28 Перевод со средневерхненемецкого языка: Готфрид Страсбургский: Тристан. В кн.: "Легенда о Тристане и Изольде". Подготовка А. Д. Михайловым. Москва: Наука 1976 (Серия "Литературные памятники").

Посмертные произведения

- 29 Перевод следующих стихотворений Р.М. Рильке: "Слепнушая" (Die Erblindende), "Испанская танцовщица" (Spanische Tänzerin). В газ.: "Новое русское слово" (Нью Йорк) 11.7.1976.

- 30 Перевод циклов стихотворений Р.М. Рильке "Новые стихотворения" (Neue Gedichte) и "Новых стихотворений вторая часть" (Der neuen Gedichte anderer Teil). Райнер Мария Рильке: "Новые стихотворения. Новых стихотворений вторая часть" (Серия "Литературные памятники"). Москва: Наука 1977.
- 31 Перевод трагедии Ф. Геббеля "Ирод и Мариамна" (Christian Friedrich Hebbel, Herodes und Mariamne, 1850). В кн.: Фридрих Геббель: "Избранное в двух томах". Москва: Искусство 1978 (т.1, стр.261-399).
- 32 Перевод стихотворения Э. Кестнера "Последний сон Дон-Жуана (Эскиз к гобелену) (Don Juans letzter Traum. Entwurf zu einem Gobelin). Впервые печатается в настоящем сборнике, стр.36.
- 33 Перевод стихотворения Г. Тракля "Распад" (Georg Trakl, Verfall). Впервые печатается в настоящем сборнике, стр.156.
- 34 "Памяти Пастернака". Стихотворение впервые печатается в настоящем сборнике, стр.158.

ПРИМЕЧАНИЯ

ВОЛЬФГАНГ КАЗАК, КОНСТАНТИН БОГАТЫРЕВ И ЕГО ДРУЗЬЯ (стр.11-20).

О судьбе К. Богатырева говорит автор также в статье Vom Übersetzen in Rußland . В кн.: Jahrbuch 1981. Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Heidelberg: Lambert Schneider 1981, стр.79-84.

- 1 В письме Рольфу-Дитриху Кайлю от 13.6.1971.
- 2 Смотри: Краткая Литературная Энциклопедия т.1 (Москва 1962), ст. 652 и The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet Literature. Edited by Harry B. Weber. 3 (Iowa City 1979) стр. 68-69.
- 3 В. Шкловский, Зоо или письма не о любви. В: Собрание сочинений в трех томах. Москва: Художественная литература 1973-74, т.1, стр.191.
- 4 Точные названия указаны в Указателе произведений К. Богатырева, на стр.299, Но 1.
- 5 Указатель произведений Но 2.
- 6 Указатель произведений Но 4 и выдержки на стр.124.
- 7 Указатель произведений Но 11.
- 8 Указатель произведений Но 3.
- 9 Указатель произведений Но 5.
- 10 В письме Рольфу-Дитриху Кайлю от 29.11.1964.
- 11 Указатель произведений Но 6.
- 12 Указатель произведений Но 7.
- 13 Указатель произведений Но 17.
- 14 Указатель произведений Но 10.
- 15 Указатель произведений Но 14.
- 16 Указатель произведений Но 16.
- 17 См. автограф на стр.295.
- 18 А. Фадеев, О литературной критике. В "Правде" от 1.2.1950 и в "Литературной газете" от 4.2.1950. См. об этом L. Čertkov, Rilke und Rußland. Auf Grund neuer Materialien. Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philos.-histor. Klasse. Sitzungsberichte Bd. 301,2. Veröffentlichungen der Kommission für Literaturwissenschaft. Wien 1975.
- 19 В. Адмони, Поэзия Райнера Марии Рильке. В журн.: "Вопросы литературы" 1962.12. стр.138-158.
- 20 Р. М. Рильке, Лирика. Перевод с немецкого Т. Сильман. Вступительная статья и примечания В. Адмони. Москва-Ленинград: Художественная литература 1965. 255 стр.
- 21 К.М. Азадовский, Л.Н. Чертков, Р.М. Рильке и А.М. Горький. В журн.: "Русская литература" 1967.4. стр.185-191.

- 22 Указатель произведений No 8.
- 23 Указатель произведений No 12.
- 24 Указатель произведений No 18, 21, 27.
- 25 Указатель произведений No 30.
- 26 Указатель произведений No 23-24.
- 27 Указатель произведений No 19.
- 28 Указатель произведений No 22.
- 29 Указатель произведений No 28.
- 30 Указатель произведений No 31.
- 31 К. Чуковский, Высокое искусство. Москва: Советский писатель 1968, стр.241; также: В. Левик, Новый Рильке. В журн.: "Иностранная литература" 1971.11. стр.264-266; М. Рудницкий, Встреча с Рильке. В журн.: "Новый мир" 1972.1. стр.260-263; Н. Литвинец, Забытое лицо вещей. В журн.: "Литературное обозрение" 1979.3. стр.83-85; Ю. Архипов, Русский Рильке. В журн.: "Вопросы литературы" 1979.4. стр.284-288; А. Федоров, Еще раз о русском Рильке. В журн.: "Вопросы литературы" 1980.3. стр. 212-216.
- 32 Сравни: L. Čertkov: Rilke und Rußland (примечание 18), стр. 17.
- 33 Указатель произведений No 13. - Глеб Струве включил в свою книгу "Углое жильё" (второе доп. издание 1978) 14 переводов стихотворений Рильке. См. его же некролог "Да будет ему легка земля" в настоящем сборнике, стр.
- 34 Русский текст письма был опубликован в газете "Русская мысль" от 28.3.1974, выдержки на английском языке в сообщении агентства Рейтер от 21.2.1974. - "Нобелевская премия" Б. Пастернака цитируется по рукописи. Ниже приводится полный текст:

Я пропал, как зверь в загоне.
Где то люди, воля, свет,
А за мною шум погони
Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба
Верю я, придет пора
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.

Янв. 1959

- 35 Gennadij Ajgi, Beginn der Lichtung. Gedichte. Herausgegeben und aus dem Russischen übersetzt von Karl Dedecius. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1971.
- 36 Указатель произведений No 26.
- 37 Роман "Поиски жанра" появился в журнале "Новый мир" (1978.1). Цитата приведена по переработанной автором рукописи. Упомянутая глава романа печатается на стр.193-194 этого сборника.
- 38 См. Н. Poerzgen, Konstantin Bogatyrjow. Moskauer Totenfeier. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" от 21.6.1976.
- 39 См. стр.194.
- 40 Ср. Лидия Чуковская, Кто убил Богатырева, стр.274.
- 41 Ср. статью В. Иванова, стр.184.
- 42 Там же, стр.183.

ОБ ЭРИХЕ КЕСТНЕРЕ (стр.23-31)

Русский текст передачи Радио Бремен на немецком языке от 19.2.1974.

- 43 Указатель произведений No 3, 5.
- 44 Указатель произведений No 10.
- 45 Указатель произведений No 30.
- 46 Указатель произведений No 32.
- 47 Kästner über Kästner. В собрании сочинений: Erich Kästner, Gesammelte Schriften für Erwachsene. 8 Bde. München-Zürich: Droemer Knaur-Atrium. Bd. 7, стр.294-299.
- 48 Erich Kästner, Briefe an mich selber. Там же, Bd. 2, стр. 219-229.
- 49 Erich Kästner, Kästner für Erwachsene. Hg. Rudolf Walter Leonhardt. Frankfurt/M.: S. Fischer (1966), стр.6.
- 50 Erich Kästner, Gesammelte Schriften. 7 Bde. Köln: Kiepenheuer und Witsch 1959.
- 51 Michel Aucouturier, Pasternak par lui-même. Paris: Editions du Seuil 1963, стр.140.
- 52 Роберт Нейманн(1897-1975), немецкий прозаик-пародист.
- 53 Erich Kästner, Rede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises. В кн.: Jahrbuch 1957. Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Heidelberg-Darmstadt: Lambert Schneider 1958. стр. 82-94(85).
- 54 Beda Allemann, Ironie und Dichtung. Pfullingen: Neske 1956, стр.12.

ЭРИХ КЕСТНЕР (стр.32-35)

"Другая возможность"

Немецкий текст печатается по Erich Kästner, Gesammelte Schriften für Erwachsene. Bd. 1: Gedichte. München-Zürich: Droemer Knaur Atrium 1969 (с) Erich Kästner Erben München.

"Последний сон Дон-Жуана"

Немецкий текст печатается по Erich Kästner, Gesammelte Schriften für Erwachsene. Bd. 7: Vermischte Beiträge II. München-Zürich: Droemer Knauer Atrium 1969 (c) Erich Kästner Erben München.

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ (стр.40-123).

Немецкие тексты печатаются по Rainer Maria Rilke, Sämtliche Werke. Hg. Rilke-Archiv in Verbindung mit Ruth Sieber-Rilke besorgt durch Ernst Zinn. 6 Bde. (c) 1955-1966 Insel-Verlag, Frankfurt am Main.

ЭРВИН ШТРИТМАТТЕР (стр.124-125).

Немецкий текст цитируется по Erwin Strittmatter, Die Holländerbraut. В сб.: Sozialistische Dramatik. Autoren der Deutschen Demokratischen Republik. Berlin: Henschel-Verlag 1968.

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ (стр.126-129)

Немецкие тексты печатаются по Bertolt Brecht, Gesammelte Werke in acht Bänden. Bd.4: Gedichte 1913-1966.. (c) 1967 Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main.

АДЕЛЬБЕРТ ФОН ШАМИССО (стр.130-131)

Немецкий текст печатается по Adelbert von Chamisso, Sämtliche Werke in zwei Bänden. Bd.1. (c) 1975 Winkler-Verlag, München.

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ФОН ГЁТЕ (стр.132-135)

Немецкий текст рецензии И.В.фон Гёте перевода "Песнь о Нибелунгах" К. Зимрока (Берлин 1827) печатается по Goethes sämtliche Werke. Jubiläums-Ausgabe in 40 Bänden. Hg. Eduard von der Hellen. Stuttgart: Cotta [1902-1912]. Bd. 38: Schriften zur Literatur. Dritter Teil. Mit Einleitung und Anmerkungen von O. Walzel.

ИНГЕБОРГ БАХМАН (стр.136-139)

Немецкие тексты печатаются по Ingeborg Bachmann, Werke. Bd.1. (c) 1978 Piper-Verlag, München.

ПАУЛЬ ЦЕЛАН (стр.140-151)

"Откос"

Немецкий текст печатается по Paul Celan, Von Schwelle zu Schwelle. (c) 1955 Deutsche Verlagsanstalt GmbH Stuttgart.

"Набросок ландшафта"

Немецкий текст печатается по Paul Celan, Sprachgitter. (c) 1959 S. Fischer-Verlag, Frankfurt am Main.

"Ты вытравил" и "Порт"

Немецкие тексты печатаются по Paul Celan, Atemwende. (c) 1967 Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main.

ФРИДРИХ ГЕББЕЛЬ (стр.152-155)

Немецкий текст выдержки из трагедии "Ирод и Мариамна" (дейст-

вие III, сцена 3) печатается по Christian Friedrich Hebbel, Sämtliche Werke. Hg. R. Werner. Historisch-kritische Ausgabe. Berlin 1901.

ГЕОРГ ТРАКЛЬ (стр.156)

Немецкий текст печатается по Georg Trakl, Dichtungen und Briefe. Bd.1. (c) 1969 Otto Müller Verlag, Salzburg.

ГЕННАДИЙ АЙГИ, ПОЭТУ РОЗЫ ПОЭТА (стр. 162 - 179)

- 55 Впервые опубликовано в кн.: Геннадий Айги, Стихи 1954-1971. Редакция и вступительная статья В. Казака. München: Otto Sagner i. Ko. 1976. (Arbeiten und Texte zur Slavistik 7).
- 56 Стихи написаны в разгар травли автора чувашскими официальными кругами за публикацию его стихотворений в журнале "Континент" 5.1975. События этого времени переживались совместно с К. Богатыревым в почти ежедневном общении с ним. (Примечание автора).
- 57 Стихи написаны во время предсмертного нахождения К. Богатырева в больнице и вызваны переживаниями этих трагических недель. (Примечание автора).
- 58 "Поэт-избранник" - Райнер Мария Рильке. В стихотворении цитируются строки из его "Гефсиманского сада" в переводе Константина Богатырева. (Примечание автора).

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ, ВИХРЬ (стр.180-187)

Настоящая статья в переводе В. Казака впервые напечатана несколько сокращенной форме) в газете "Neue Zürcher Zeitung" от 9.10.1981.

- 59 Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров, Исследования в области славянских древностей. Москва: Наука 1974.

БОРИС ПАСТЕРНАК, ПИСЬМА К. БОГАТЫРЕВУ (стр.188)

Оригиналы писем см. стр. 292-293.

- 60 К. Богатырев в это время прислал Б. Пастернаку свои переводы Рильке и Кестнера.
- 61 Как раз в это время Б. Пастернак узнал, что его роман "Доктор Живаго" появился в Италии и был с восторгом принят читателями.

ВЛАДИМИР ТОПОРОВ, ВЕРНОСТЬ ДУХОВНОМУ ИДЕАЛУ (стр. 190-191)

- 62 Намек на сходство судьбы Богатырева с Достоевским, который после отмены смертной казни отбывал каторжный срок в Омской тюрьме.

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ, УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК (стр.193-194)

Глава из переработанной рукописи романа "Поиски жанра". Подробнее см. примечание 37.

ИВАН РОЖАНСКИЙ, НА СЛУЖБЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (стр.195-204)

- 63 См. однако стихотворение Богатырева, посвященное Б. Пастернаку, стр. 158.
- 64 Указатель произведений Но 18.
- 65 См. примечание 20.
- 66 Г.Я. Чечельницкая, Русская литература в творчестве Рильке. Защита кандидатской диссертации должна была состояться в 1949 году на филологическом факультете Ленинградского университета, тезисы были опубликованы в 1948 году в Ленинграде, см. L. Čertkov (примечание 18) стр.38.
- 67 См. примечание 18.
- 68 В следующем, 1966 году, все пастернаковские переводы Рильке вошли в сборник "Звездное небо" (Стихи зарубежных поэтов в переводах Б. Пастернака. Предисловие Н. Любимова). Москва: Прогресс 1966 (Серия "Мастера поэтического перевода"). (Примечание автора).
- 69 Несколько слов о судьбе всей серии "Писатели об искусстве": Кафка и Цветаева были вскоре вычеркнуты из плана издательства высшим начальством. Сборник "Пастернак об искусстве" (включавший, помимо статей, "Схранную грамоту") был подготовлен и также набран, но в этот момент, по чьему-то приказанию, издание было приостановлено и набор рассыпан. Вышла только книга "Лорка об искусстве" и недавно, в 1976 году, превосходный сборник "Валери об искусстве" - блестящее достижение составителя и редактора книги (он же переводчик большинства текстов) В.М. Козового. (Примечание автора).
- 70 Указатель произведений Но 21.
- 71 Указатель произведений Но 27.

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ, ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ (стр. 206-210)

- 72 Ян Гашек, Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны. Перевод с чешского П. Богатырева. Предисловие Льва Копелева. Москва: Гослитиздат 1963. ч. 1-2, 507 стр., ч. 3-4, 342 стр.
- 73 В. Войнович, Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. ч. 1-2 Париж: ИМКА-Пресс 1975; Претендент на престол. Новые приключения солдата Ивана Чонкина. Париж: ИМКА-Пресс 1979.
- 74 В. Войнович, Иванькиада. Рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру. Ann Arbor: Ardis 1976.
- 75 Сокращенное название одного из произведений классиков марксизма-ленинизма: Фридрих Энгельс, Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом (Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. Leipzig 1878).

ОСИП ЧЕРНЫЙ, СВЕРХ ПРОЛОЖЕННЫХ ТРАСС (стр. 214-222)

- 76 См. стр. 23-31.

В. КОНЧЕЕВ (ГЕННАДИЙ БАРАБТАРЛО), КОНСТАНТИНОПОЛЬ (стр.224-231)

Первая часть статьи Г. Барабтарло была написана еще в Советском Союзе под псевдонимом В. Кончеев, вторая часть - "Послесловие" - после эмиграции автора в США.

77 Доктор Живаго, книга I, глава 3, X.

78 См. примечание 20.

ЛЕВ КОПЕЛЕВ, СЛОВОПОКЛОННИК (стр.232-234)

Под тем же названием автор опубликовал еще одну статью о К. Богатыреве в газете "Die Zeit" от 17.7.1981, стр.38.

ФЕЛИКС ФИЛИПП ИНГОЛЬД, СЕКУНДНАЯ ВСПЫШКА (стр.244)

Обзор творчества К. Богатырева с цитатами из некоторых статей настоящего сборника автор опубликовал в газете "Neue Zürcher Zeitung" от 17.7.1977.

ГЕНРИ ГЛЕЙД, ВЕРНОСТЬ СЛОВУ И ИСТИНЕ (стр.245-247)

79 Gruppenbild mit Retusche. В газете: "Die Welt" от 8.5.1973.

80 Константин Богатырев, Об Эрихе Кестнере, см. стр.24.

81 Указатель произведений Но 10.

82 Указатель произведений Но 17.

83 Указатель произведений Но 26.

АНДЖЕЛА ЛИВИНГСТОН, ПЕРЕВОДЧИК ПОЭЗИИ РИЛЬКЕ (стр.248-253)

Статья впервые опубликована под названием Angela Livingstone, Approaches to Translation. В журн.: "Modern Poetry in Translation" 30 (London). Spring 1977. стр.23-25.

84 Указатель произведений Но 30.

ПАУЛЬ ВЭД, ПОЭТ И КОМИК (стр. 254-258)

Некролог П. Вэда, посвященный памяти К. Богатырева, был опубликован 24.8.1976 в Копенгагене в газете "Information".

ДЖЕФФРИ ХОСКИНГ, ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ДРУГИХ (стр. 259-261)

Еще одна статья автора под названием "Почему Косте пришлось умереть" (Geoffrey Hosking, Why Kostya had to die) напечатана в журнале "Index of Censorship", vol. 6 (London 1977) Nr.2.

85 В. Шаламов, Колымские рассказы. London: Overseas Publications Interchange 1978, стр.220.

САРА КИРШ, МОСКОВСКОЕ УТРО (стр. 262)

Русский перевод печатается с разрешения издательства "Langewiesche - Brandt" по сборнике Sarah Kirsch, Zaubersprüche. Ebenhausen 1974.

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ, НЕКРОЛОГ НЕЗНАМЕНИТОМУ ЧЕЛОВЕКУ (стр.265-267)

Некролог был впервые опубликован 23.7.1976 под рубрикой "Литературное приложение" в газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Перевод некролога Г. Бёлля печатается с разрешения издательства Kierpenheuer und Witsch, Köln по собранию сочинений Г. Бёлля: Heinrich Böll: Werke. Bd.9: Essayistische Schriften und Reden 3. 1978.

ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ, КТО УБИЛ БОГАТЫРЕВА? (стр. 268-276)

Текст печатается по книге: Лидия Чуковская, Процесс исключения. (с) 1979 ИМКА-Пресс, Париж.

- 86 Фаддей Булгарин, писатель начала XIX века, был агентом Третьего отделения. Приводимая цитата - последняя строчка эпиграммы; приписывается Пушкину.
- 87 Текст надгробной речи Войновича напечатан по памяти в "Хронике текущих событий" No 42. Нью-Йорк 8.10.1976, стр.104-105.
- 88 Комната No 8 в главном корпусе Союза писателей СССР является местом совещаний руководства, в ней принимаются все важные решения, в том числе исключение членов из Союза писателей.

ГЛЕБ СТРУВЕ, ДА БУДЕТ ЕМУ ЛЕГКА ЗЕМЛЯ (стр. 278-280)

Текст впервые опубликован в Нью-Йоркской газете "Новое русское слово" от 11.7.1976.

- 89 Труды по знаковым системам VII. Тарту 1975 (Ученые записки Тартуского государственного университета No 365).
- 90 П.Г. Богатырев, Знаки в театральном искусстве, там же, стр.7-37.
- 91 В газете "Новое русское слово" от 29.6.1976.
- 92 Указатель произведений No 13.
- 93 См. Г. Струве: "Угловое жильё". Избранные стихи 1915-1949 гг. 2-ое издание 1978. стр.111-122: Переводы из Райнера Марии Рильке.
- 94 Указатель произведений No 25.
- 95 О составлении сборника см. статью И. Рожанского, стр.199.
- 96 Указатель произведений No 27.

ОБ АВТОРАХ ЭТОГО СБОРНИКА

Указатель содержит краткие биографические справки об авторах статей, стихотворений и писем, помещенных в настоящем сборнике.

А й г и, Геннадий Николаевич
родился в 1934 году; лирик; пишет по-чувашски и по-русски; живет в Москве.

А к с е н о в, Василий Павлович
родился в 1932 году; русский прозаик; до эмиграции в 1980 году жил в Москве; живет в Вашингтоне.

Б а р а б т а р л о, Геннадий (псевдоним: В. Кончеев)
родился в 1949 году в Москве; писатель и филолог; в 1979 году эмигрировал из СССР в США.

Б ё л л ь, Генрих (Böll, Heinrich)
родился в 1917 году; немецкий писатель-прозаик; лауреат Нобелевской премии по литературе в 1972 году; живет в Кельне.

В а р д а ш, Д., псевдоним.

В е н ц л о в а, Томас
родился в 1937 году; литовский поэт, филолог и переводчик лирики; эмигрировал в 1976 году; живет в Нью-Хейвене (США).

В о й н о в и ч, Владимир Николаевич
родился в 1932 году; русский прозаик; в 1974 году в Москве исключен из Союза писателей; эмигрировал в 1980 году; живет в Мюнхене.

В э д, Пауль (Vad, Paul)
родился в 1927 году; датский писатель и искусствовед, проживающий в Копенгагене; один из его шести романов был переведен на русский язык Еленой Суриц, женой К. Богатырева.

Г л е й д, Генри (Glade, Henry)
родился в 1920 году; профессор славистики и германистики в колледже в Северном Манчестере (США).

Д в о р я д к и н, Александр
родился в 1926 году; друг лагерных времен К. Богатырева; живет в Донецке.

И н г о л ь д, Феликс Филипп (Ingold, Felix Philipp)
родился в 1942 году; профессор славистики в вузе С-Галлен (Швейцария)

И в а н о в, Вячеслав Иванович
родился в 1929 году; московский языковед (славист, индоевропеист), литературовед и теоретик искусства.

К а з а к, Вольфганг (Kasack, Wolfgang)
родился в 1927 году; профессор славистики в Кельнском университете.

К а з а к, Фридерике (Kasack, Friederike)
родилась в 1953 году; литературовед и переводчица с русского;
живет в Мухе (Федеративная Республика Германия).

К и р ш, Сара (Kirsch, Sarah)
родилась в 1935 году; немецкая поэтесса, проживавшая в Халле и
Восточном Берлине; в настоящее время живет в Ботеле (Федератив-
ная Республика Германия).

К о н ч е е в, В.
псевдоним Геннадия Барабтарло.

К о п е л е в, Лев Зиновьевич
родился в 1912 году; русский литературовед (германист), писатель
и переводчик; до выезда из СССР в 1980 году жил в Москве; живет
в Кельне.

К о з о в о й, Вадим
родился в 1937 году; русский литературовед (романист), поэт и
переводчик русской лирики; живет в Париже.

Л и в и н г с т о н, Анджела (Livingstone, Angela)
родилась в 1934 году; доцент русской литературы в Эссекском уни-
верситете в Колчестере (Англия).

Н е к р а с о в, Всеволод
родился в 1934 году; московский лирик; его стихотворения для де-
тей печатаются в Советском Союзе, остальные произведения распрос-
траняются в самиздате.

П а с т е р н а к, Борис Леонидович
родился в 1890 году; московский лирик, прозаик и драматург; лау-
реат Нобелевской премии по литературе в 1958 году; умер в 1960
году.

Р и х т е р, Ганс-Вернер (Richter, Hans-Werner)
родился в 1908 году; немецкий прозаик, автор радио-постановок и
книг для детей; основатель писательского объединения "Группа 47";
живет в Мюнхене.

Р о ж а н с к и й, Иван Димитриевич
родился в 1913 году; московский ученый; автор монографий по исто-
рии науки.

С а т у н о в с к и й, Ян
родился в 1913 году; московский автор стихотворений для детей и
собирает детскую поэзии разных народов.

С т р у в е, Глеб Петрович
родился в 1898 году в С-Петербурге; эмигрировал в 1918 году; про-
фессор славистики в калифорнском университете в Беркли.

Т о п о р о в, Владимир Николаевич
родился в 1928 году; московский литературовед и языковед (славист
и индоевропеист).

Х о с к и н г, Джеффри (Hosking, Geoffrey)
родился в 1942 году; историк и литературовед (славист) в Эссекс-
ком университете в Колчестере (Англия).

Ч е р н ы й, Осип Евсеевич
родился в 1899 году; русский писатель; живет в Москве.

Ч у к о в с к а я, Лидия Корнеевна
родилась в 1907 году; прозаик и критик; дочь русского писателя
и литературоведа К.И. Чуковского; в 1974 году исключена из Союза
писателей СССР; живет в Переделкине под Москвой.

Э т к и н д, Ефим Григорьевич
родился в 1918 году; ленинградский литературовед; эмигрировал в
1974 году; профессор славистики в парижском университете.

Я к о б с о н, Роман Осипович
родился в 1896 году в Москве; языковед и литературовед; один из
основателей Пражского лингвистического кружка; профессор Гарвард-
ского университета и Массачусеттского технологического института.

ARBEITEN UND TEXTE ZUR SLAVISTIK
HERAUSGEGEBEN VON WOLFGANG KASACK

- 1 Sabine Appel: Jurij Oleša. "Zavist'" und "Zagovor čuvstv". Ein Vergleich des Romans mit seiner dramatisierten Fassung. 1973. 234 S. DM 24.-
- 2 Renate Menge-Verbeeck: Nullsuffix und Nullsuffigierung im Russischen. Zur Theorie der Wortbildung. 1973. IV, 178 S. DM 18.-
- 3 Jozef Mistrík: Exakte Typologie von Texten. 1973. 157 S. DM 18.-
- 4 Andrea Hermann: Zum Deutschlandbild der nichtmarxistischen Sozialisten. Analyse der Zeitschrift "Russkoe Bogatstvo" von 1880 bis 1904. 1974. 198 S. DM 20.-
- 5 Aleksandr Vvedenskij: Izbrannoe. Herausgegeben und eingeleitet von Wolfgang Kasack. 1974. 116 S. DM 15.-
- 6 Volker Levin: Das Groteske in Michail Bulgakovs Prosa mit einem Exkurs zu A. Sinjavskij. 1975. 158 S. DM 18.-
- 7 Геннадий Айги: Стихи 1954 - 1971. Редакция и вступительная статья В. Казака. 1975. 214 S. DM 20.-
- 8 Владимир Казаков: Ошибка живых. Роман. 1976. 201 S. DM 20.-
- 9 Hans-Joachim Dreyer: Petr Veršigora. "Ljudi s čistoju sovest'ju". Veränderungen eines Partisanenromans unter dem Einfluß der Politik. 1976. 101 S. DM 15.-
- 10 Николай Эрдман: Мандат. Пьеса в трех действиях. Редакция и вступительная статья В. Казака. 1976. 109 S. DM 15.-
- 11 Karl-Dieter van Ackern: Bulat Okudžava und die kritische Literatur über den Krieg. 1976. 196 S. DM 20.-
- 12 Михаил Булгаков: Ранняя неизданная проза. Составление и предисловие Ф. Левина. 1976. 215 S. DM 24.-
- 13 Eva-Marie Fiedler-Stolz: Ol'ga Berggol'c. Aspekte ihres lyrischen Werkes. 1977. 207 S. DM 20.-
- 14 Christine Scholle: Das Duell in der russischen Literatur. Wandlungen und Verfall eines Ritus. 1977. 194 S. DM 20.-

M ü n c h e n • Verlag O t t o S a g n e r in Kommission

ARBEITEN UND TEXTE ZUR SLAVISTIK
HERAUSGEGEBEN VON WOLFGANG KASACK

- 15 Aleksandr Vvedenskij: Minin i Požarskij. Herausgegeben von Felix Philipp Ingold. Vorwort von Bertram Müller. 1978. 49 S. DM 8.-
- 16 Irmgard Lorenz: Russische Jagdterminologie. Analyse des Sprachgebrauchs der Jäger. 1978. 558 S. DM 60.-
- 17 Владимир Казаков: Случайный воин. Стихотворения 1961 - 1976. Поэмы. Драммы. Очерк »Зудесник«. 1978. 214 S. DM 24.-
- 18 Angela Martini: Erzähltechniken Leonid Nikolaevič Andreevs. 1978. 322 S. DM 30.-
- 19 Bertram Müller: Absurde Literatur in Rußland. Entstehung und Entwicklung. 1978. 210 S. DM 24.-
- 20 Михаил Булгаков: Ранняя несобранная проза. Составление Ф. Левина и Л.В. Светина. Предисловие Ф. Левина. 1978. 250 S. DM 30.-
- 21 Die Russische Orthodoxe Kirche in der Gegenwart. Beiträge zu einem Symposium der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Herausgegeben von Wolfgang Kasack. 1979. 86 S. DM 10.-
- 22 Георгий Оболюев: Устойчивое неравновесие. Стихи 1923 - 1949. Составление и подготовка текста А.Н.Терезина. Предисловие А.Н.Терезина. Послесловие В.Казака. 1979. 176 S. DM 20.-
- 23 Wolfgang Kasack: Die russische Literatur 1945 - 1976. Mit einem Verzeichnis der Übersetzungen ins Deutsche 1945 - 1979. 1980. 72 S. DM 10.-
- 24 Михаил Булгаков: Ранняя неизвестная проза. Составление и предисловие Ф.Левина. 1981. 254 S. DM 32.-
- 25 Поэт-переводчик Константин Богатырев. Друг немецкой литературы. Ред.-сост. В.Казак с участием Л.Копелева и Е.Эткинда. 1982. 316 S. DM 34.-

M ü n c h e n · Verlag O t t o S a g n e r i n K o m m i s s i o n

**Bayerische
Staatsbibliothek
München**

Wolfgang Kasack - 9783954794294
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:47:08AM
via free access